

Г. Н. КУЗНЕЦОВА

ИЗ «ГРАССКОГО ДНЕВНИКА»

Галина Николаевна Кузнецова — писательница. С 1920 г. в эмиграции. В 1927—1942 гг. жила (с перерывами) в семье Буниных. В 1949 г. переехала в США, работала переводчиком в аппарате ООН; с 1959 г. продолжала эту работу в Женеве. Автор книги «Грасский дневник» (1967). Ниже печатается сокращенный Г. Н. Кузнецовой для «Литературного наследства» текст этой книги. При сокращении были исключены записи, не имеющие прямого отношения к Бунину.

Покинув Россию и поселившись окончательно во Франции, Бунин часть года жил в Париже, часть — на юге, в Провансе, который любил горячей любовью. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Все это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю.

1927

19 мая. Грасс. Живу здесь почти три недели, а дела не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее, потом работать, писать, но даже насладиться до конца не удастся. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей виллы, меня манят большей частью платонически. Взабегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу по открытой площадке перед виллой, смотрю — не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы, те дикие Моря, в которых скитался Мопассан.

По утрам срезаю розы — ими увиты все изгороди — выбрасываю из них зеленых жуков, поедающих сердцевину цветка. Обычно я же наполняю все кувшины в доме цветами, что И. А. называет «заниматься эстетикой». Сам он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем, пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в кабинет.

5 июня. И. А. пишет рассказ о «веселом мужике», обещает, когда окончит, прочесть его нам «за бутылкой белого вина».

Живем мы довольно размеренно. И. А. в определенные часы гонит спать, а днем заниматься, «по камерам», как он шутливо кричит. Он

ничуть не похож здесь на И. А. парижского, не умевшего дня прожить без ресторанов и кафе.

7 июня. Знойный великолепный день. Море придвинулось и лежит на горизонте, полном голубым дымом, так что глазам весело, небо побледнело от обилия света, и хвойное раскидистое дерево на этом свете и лазури прекрасно. После завтрака И. А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен. А все это в целом очаровательно: и он, и голубая горячая даль, и хвойные ветки большого раскидистого дерева в нижнем саду, и далекое море, синей стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем, долго лежать он мне не дал — погнал в комнату «заниматься». «Надо смотреть на сухие летние дни, как на рабочее время, нечего бездельничать», — постоянно твердит он. А тут еще прибавил: «Только в вашем возрасте и можно дать хороший закал для будущего. Идите-ка, идите». И сам пошел писать о своем «веселом мужике». На этот раз пишет он довольно медленно, еще не разошелся.

12 июня. И. А. говорил, что его мучает неоконченный рассказ.

24 июня. Приехал Рошин — пока еще не вошел в атмосферу дома и бродит в новеньком галстуке и свежей рубашке по дому и саду. Кажется, ему немного скучно и все еще длится необходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И. А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. Я ему завидую, хотя и остерегаюсь говорить об этом: меня уже достаточно все бранят за «максимализм».

26 июня. ... вечером И. А. читал нам в саду свой новый рассказ «Божье дерево».

1 июля. После того как И. А. вчера прочел мне несколько глав из романа, который он пишет, я потеряла смелость. Писать какой-либо роман рядом с ним — претенциозно и страшно. И все-таки мне хочется писать...

2 июля. Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И. А. остановился и, удержав меня за руку, сказал: «Вот это то, что я больше всего люблю — настоящий Прованс!» — и, помолчав, прибавил: «Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю на такие вещи».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо, действительно изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие, ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все брал меня за локоть и говорил: «Как они прелестны и как хорошо им там вверху... Еще в детстве было для меня в них что-то мучительное...»

Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой, записать — коротко, в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря...». И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очеркивалась другой, световой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом...



И. А. БУНИН, В. Н. БУНИНА, Н. Я. РОЩИН, Г. Н. КУЗНЕЦОВА

Фотография. Грасс, вилла «Бельведер», 1927

Собрание Г. Н. Кузнецовой, Мюнхен

8 июля. Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И. А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И. А.

25 июля. Вчера, в воскресенье, были гости — Ходасевичи, только что приехавшие из Парижа. Пробыли они почти до вечера. Разговоры велись, конечно, главным образом литературные. И. А. умеет быть иногда необыкновенно любезным и обаятельным хозяином, он поднимает настроение общества, зато к нему стекаются всеобщее внимание и все взгляды.

Когда гости уехали, я пошла ходить по саду, и И. А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни, с которыми я и забралась на верхнюю террасу и, сев на траву, принялась за чтение.

Когда кончила, подняла голову и засмотрелась: на нежном розово-голубом вечернем небе венцом лежали серые вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой и нежность и какая-то задумчивость и в небе, и в оливках, и в моей душе. Почему-то вспомнилось детство, самые сокровенные его раздумья и мечты. В листьях, лежавших на моих коленях, было тоже детство нежной впечатлительной души, родной всем мечтательным и страстным душам. Самые сокровенные, тонкие чувства и думы были затронуты там. И глава кончалась полувопросом, полуутверждением в том, что, может быть, для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я и что мне милее всего на свете? И ответ будет, пожалуй, тот же, так как в творчестве есть

несомненно элемент эротический. Я сидела и думала об этом, когда внизу на дорожке показался И. А. Я махнула ему, позвала его. Он спросил меня, не портит ли он мне впечатление тем, что дает читать по кускам. Я сказала, что в этом есть своя и, может быть, еще более важная прелесть. В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь вставленную (о разнообразной прелести деревьев — их вершин, внизу темных, а сверху блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать о какой-нибудь детали и сказать щедро».

Он часто так учит меня — незаметно, мимоходом. Позднее, вечером, во время прогулки он обратил мое внимание на огни, блестевшие «очень чисто», и на ясность и черноту горы — «это бывает в мистраль — это не летние мглистые вечера — это надо все замечать».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал из-за своего почерка — менял перья, писать ему бывает очень трудно, перо не идет, а ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного, а я не записала, поленилась, забыла... Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено.

31 июля. Долгожданное жаркое лето. С утра горячий ветер шелестит по высохшему, почти лишенному тени саду. После полудня делается так душно, что делать ничего немислимо. Только к ночи наступает облегчение; а ночи черные, сухие, с звездным небом, в котором теряется взор. На площади, в городе опять раскинут шатер, опять праздник, и сюда почти весь день доносится музыка...

Танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца, подле упраздненной церкви, обращенной в конфектную фабрику. Вчера вечером ходили с И. А. туда вдвоем посмотреть на танцы. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту... Ах, как хорошо!..» и пояснил: «я ведь все-таки, по совести, не могу написать о таком Жозефе или Жанне потому, что не знаю их души. А я ужасно хочу написать о них — ведь Франция для нас теперь вторая родина...»

Мы возвращались через сад Монфлери, и вслед все летела медлительная томная музыка, было так темно, что в двух шагах мы ничего не различали, а вверху огромный газовый шарф Млечного Пути пересекал все небо — темное и точно разгоряченное...

8 августа. Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, украшенных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе, по пути в Грасс — мы возвращались с купанья.

15 августа. Несколько дней уже горят леса вокруг в горах. Сегодня ветер и над Морами клубы серо-розового густого дыма с самого утра. Рвет ветром, и какое-то нехорошее жуткое ощущение в теле.

Вся Эстерель в огне. Мрачная апокалиптическая картина. Ходили наверх с И. А. Смотрели, потом сидели на траве под туманными деревьями и говорили о моем будущем, о литературе, о работе. Он настаивал на более упорной работе для меня. «Иначе может случиться, что душа останется, как облако, которое плывет и тает, — слишком лиричной в жизни». Потом ещё говорил: «Жизнь писателя есть отречение от жизни. Надо оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за письменный стол, быть терпеливой...» Я слушала почему-то с грустью. В душе был страх перед темным будущим... Вечером, прощаясь перед сном, он сказал тихо: «Завтра я сажусь за работу!»

29 августа. Сегодня утром И. А. сказал мне в саду, когда мы по обыкновению вышли после кофе взглянуть на погоду: «Что же это утра пропадают? Надо не ждать вдохновения, а идти садиться за стол и писать». И я послушалась его и пошла к себе.

12 сентября. Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрестанный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И. А. пишет у себя, капитан где-то на верхних террасах сада, лежа на животе, покрывает большой лист мельчайшими неразборчивыми буквами, В. Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатываем всю рукопись «Арсеньева». Я ничего не пишу. Нет необходимого для писания запаса влюбленности в жизнь, в то, что пишешь. Наоборот: усталость и разочарование. Довольно много читаю по-французски и «Казаков», восхищенно дивясь вновь и вновь их простоте и прелести.

Дивлюсь, как могла я до сих пор не чувствовать, не восхищаться, не влюбляться в здоровую, счастливую красоту этой повести? Нет, тут не только простота и счастье жизни, тут и какое-то колдовство, чистая магия, неизвестная нам. Откуда она берется? В чем она? В сочетании слов, в их подборе, чередовании? Сейчас как раз об этом пишет в своем романе И. А. Вчера давал читать мне главу о тех стихах и повестях, которые произвели на него неотразимое впечатление в детстве. Мы много говорили с ним на эту тему летом, и я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал, — была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.

Сейчас он пишет целые дни, а я и В. Н. печатаем на машинке написанное.

27 октября. Давно не писала и как-то отвыкла и словно утомилась писанием о прошлом; впрочем, вероятно, это отчасти и оттого, что я слишком много сил отдаю роману И. А., о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого, по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу.

31 октября. Вчера, по случаю великолепного дня, поехали с И. А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Канне долго ходили по горе: «искали виллу» — это любимейшее занятие вот уже несколько лет у И. А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями, «высохшими от мистралей», где-то на высоте,

над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключаютелее все вышеупомянутые, — дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместье, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядками гор, точно волны на прибой, идущими на нас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление... И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада...

Сегодня начала перепечатывать первую книгу «Арсеньева».

8 ноября. Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и третью вторую, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И. А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

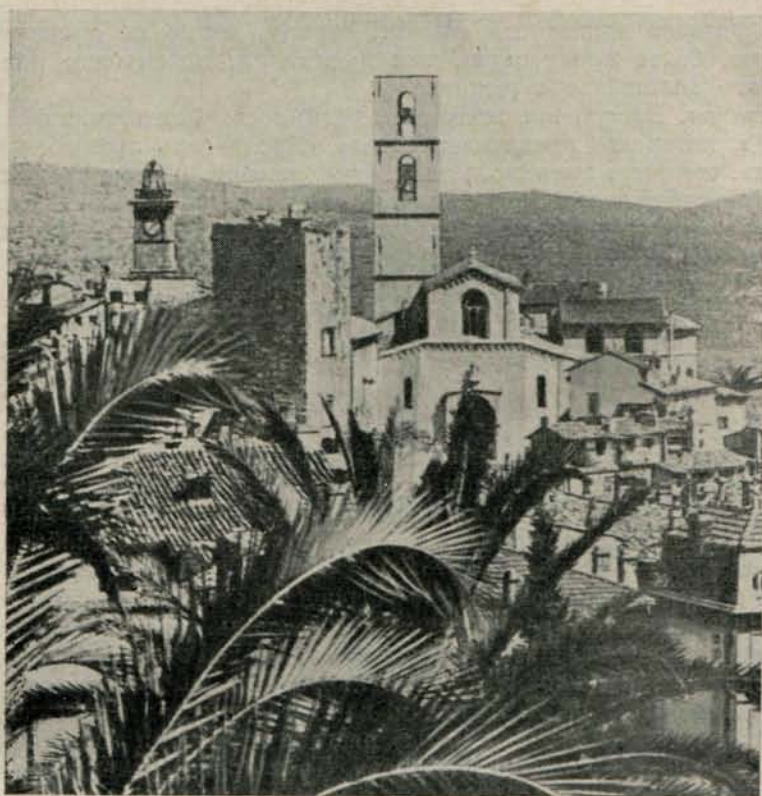
9 ноября. Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В. Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним.

17 ноября. Живу какой-то ненастоящей жизнью — раздвоенной, фантастической. Переписываю константинопольский дневник.

Понемногу передо мной проходит моя жизнь, которая всегда мучила меня своей «несказанностью» (по Гиппиус). Я порой теряю чувство действительности: что было тогда, что теперь? Но не я одна так живу: И. А. пишет и живет прошлым, В. Н. пишет род дневника об их странствованиях, и все мы не живем настоящим.

5 декабря. И. А. дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажения души.

12 декабря. ...Шли по парку, полному пальм, кактусов самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканые иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот



ГРАСС. ВИД НА СТАРЫЙ ГОРОД

Фотография, начало 1970-х годов

просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева, покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Апельсиновое дерево для меня что-то чудесное. Я всегда, представляя себе рай и то дерево, с которого сорвала плод Ева, представляла себе его, а не безобидную северную яблоню. Сказала об этом И. А., он с жаром подтвердил: «Конечно. Ведь сказано просто — сорвала плод, а не яблоко, это уже прибавили потом, да и вообще плод надо понимать символически...»

Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

— Не могу видеть этого дерева спокойно, — сказал он, — как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины в полусне, в дремоте... да, именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром... Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!

Да, в нем есть какая-то волшебная сила. Кажется, уже все знаешь, весь этот южный мир знаешь, живешь в нем, а он несколькими случайными

словами создает волшебный мираж, страну, нигде не существующую, сказочную, более прекрасную, чем подлинная, потому что она не сам мир, а его волшебное отражение.

22 декабря. Настроение всего дома поднялось. Фондаминский прислал письмо, в котором предлагает издать «Арсеньева» при «Современных записках», что очень выгодно. Главное же, из этого письма стало понятно, что роман возбуждает интерес и что все вовсе не так безнадежно, как представлялось И.А. Правда, И. А. колеблется, говорит, что написаны всего две части, что нельзя давать согласия, не имея ничего в руках... но уже чувствуется в нем поворот, оживление, может быть интерес к писанью. Днем ходили с ним в город и говорили об этом.

1928

5 января. Раз в неделю ходим в синема. Фильмы, правда, одна неудачней другой, но мы с И. А. не можем отучиться от тяги к синема и, побравив одну, идем на другую. Здешняя убогая «Олимпия» — место свидания всего Грасса. Вчера была картина с ковбоями и скачкой, что особенно любит И. А.

Были в усадьбе Фрагонара, где устроен теперь музей. Смотрели прекрасный старинный провансальский дом, утварь, мебель из золотистого полированного дерева. И. А. все повторял: «И все это исчезло из жизни, все провалилось куда-то! Вот жили люди! Как мы теперь живем!»

4 февраля. Весь день И. А. писал, как и все эти дни, а я лежала у себя и читала «Детство и отрочество». В разгаре чтения он вошел и дал мне прочесть только что написанную главу. То и другое у меня как-то сплелось, но вместе с тем я необыкновенно остро почувствовала разность Толстого и И. А. У последнего все картинней, «безумней», как выразился о себе он сам. И еще — читая эти изумительные прекрасные страницы о его отрочестве, мне стало грустно, жаль молодости...

Теперь мы с ним говорим только о писании и о писании. Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным, и сама стыжусь этого. А он все говорит, что я гневлю бога, сделав такой скачок за год и жалуясь на недостаточную быстроту движения вперед. Но что же делать, если я чувствую себя рядом с ним лягушкой, которая захотела сравняться с волком?

7 июня. За столом И. А. рассказывал о Чехове: «Один раз заставил меня читать ему вслух его рассказ „Студент“, там описывается пасхальная ночь, костер в поле, студент рассказывает людям, сидящим подле него, о Христе и чувствует, что назад точно протягивается какая-то цепь. Когда я кончил, Чехов сказал: „Ну, какой же я пессимист?..“

Только один раз был груб: я прочел его рассказ, где солдат возвращается через Индийский океан. Там совершенно божественный конец. Когда я кончил, то воскликнул: „Почему нет ничего дальше?..“ А он очень резко ответил: „Я пишу только то, что могу“. Обиделся. И я обиделся».

Илюша: На что же он обиделся?

«Очевидно, чувствовал что не мог написать. Вот там и переход, и Индийский океан, а он не мог... Бывало: разлетится к нему какой-нибудь посетитель: „Ах, дорогой, какое высокое художественное наслаждение вы доставили нам своим последним рассказом“... Чехов сейчас же перебивал: „А скажите, вы где селедки покупаете? Я вам скажу, где надо покупать: у А., у него жирные, нежные...“ — переводил разговор. Как ему кто-нибудь о его произведениях — он о селедках. Не любил».

20 июля. Сегодня я все послеобеда печатала «Арсеньева». Замучился И. А. с «покойником». Не знаю почему, но мне кажется, что была допущена

на ошибка в построении. Это повторение с покойником меня мучает. Я осторожно пыталась сказать об этом. Но он, кажется, и сам видит это.

22 августа. Сколько раз собиралась записать поподробнее о течении нашей жизни — о всех и о себе, — и никогда на это не находится времени. А между тем лето уже кончается, скоро сентябрь и с ним изменение жизни. Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги «Арсеньева», исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места, и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замирания сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок...

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно... «Ничто так не старит, как забота», часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (всегда изумительно талантливо), дразнит капитана так, что тот приседает от смеха.

Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла. Должно быть жаркое лето меня обессилило. Правда, я пишу еще время от времени стихи, но они меня мало радуют. Единственное настоящее дело — подготовила книгу стихов И. А. — перепечатала две трети, а главное затеяла это — без затей же это бы никогда не сдвинулось с места. Перепечатывая стихи, многое узнала, увидела в них то, чего прежде не видела. Есть стихи изумительные, которые никто по-настоящему не оценил. Мы много говорим с И. А. об отдельных стихотворениях. Думаю, что могла бы написать о его поэзии большую статью, если бы не страх ответственности и не моя слабая воля...

27 августа. Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. раньше очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что «надо понимать оттенок» и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась, забывая, что к И. А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, несколько, однако, не исключающих основного тона. Так, о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь, и находя непростым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем, вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для «Последних новостей» о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

5 сентября. Сегодня первая половина моего рассказа в «Последних новостях». И. А. вечером в саду сказал: «А я сегодня много думал... Бог дал вам хороший, редкий по нынешним временам талант. Надо постараться его не прогулять. Надо очень поработать...»

9 октября. Читаю Полнера «Толстой и его жена». Много мыслей по этому поводу. Нет, не все тут так, как я думала. Ей тоже было тяжело, хотя с некоторых пор она вдруг так меняется, точно ее подменили.

И. А. говорит часто: «У здорового человека не может быть недовольства собой, жизнью, заглядыванья в будущее... А если это есть — беги и принимай валерьяну!»

А как же Толстой?

Пробую писать. Написала рассказ «Ночлег», но что-то идет не так, как бы хотелось. То торопливость, то лень одолевает. Хочется чего-то нового, большого, затрагивающего, свежего.

Зато «Арсеньева» мы с И. А. кончали как-то приподнято, так что у меня горели щеки, щемило сердце... Он диктовал последние две главы, и оба мы в праздничном счастливом подъеме.

О третьей книге «Арсеньева» и Вишняк и Илюша отозвались восторженно, что, кажется, подняло И. А., почти уже подумывающего о том, чтобы покончить с «Арсеньевым».

И. А. как-то сказал о читателе: «Замечательно, что каждый читатель считает долгом чему-то научить писателя, указывать ему на его недостатки и при этом всегда сверху вниз...»

22 октября. Разговор с И. А. у него в кабинете. В окнах красная горная заря, мохнатые лиловые тучи. Он ходит по комнате, смотря под ноги, и говорит об «Арсеньеве»:

— Сегодня весь день напряженно думал... В сотый раз говорю — дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! Если бы передохнуть год, два, может быть, и смог бы продолжать... а так ... нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно... Знаю. Да что делать?

Как давно уже он мучается этим! Уже перед третьей книгой говорил то же. А теперь уж и не знаю, что будет...

1 ноября. Отослали прислугу — новая придет только в субботу, и три дня в доме работаем все понемногу. Не обходится, конечно, без раздражения, споров, недовольства. Да что делать?

Вчера были одни днем с капитаном в доме, и было тихо, как в могиле. Шел дождь не переставая; черные перья пальм особенно мрачно закрывали горизонт, серое дымное небо медленно плыло над оливками. Было ужасно грустно. Это прекраснейшее в солнечные дни место, в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете.

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от «Олд Ингланд». В. Н. слушает, уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

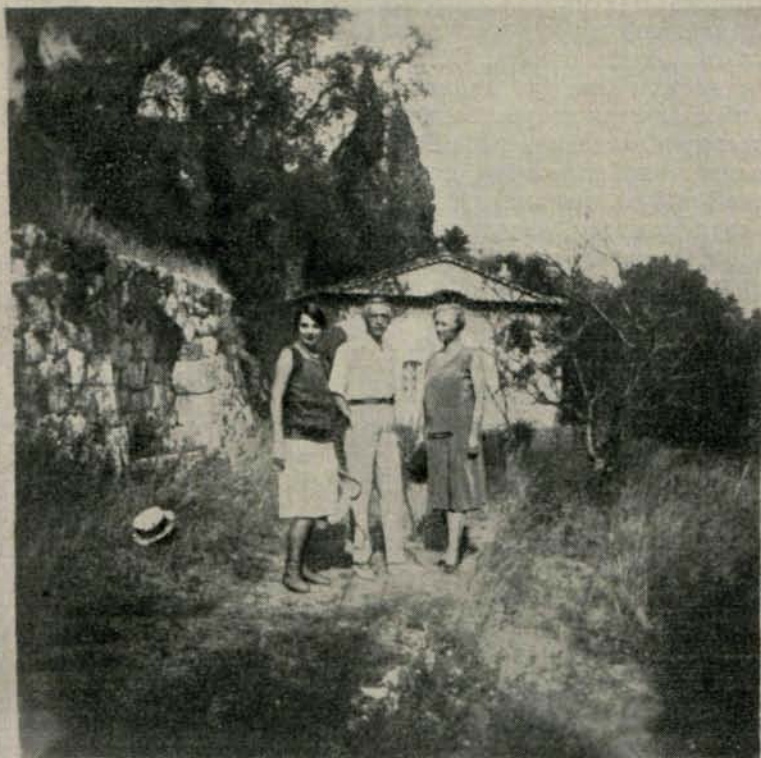
8 декабря. Читали вслух новую книгу Морана «Париж — Томбукту». И. А. в конце концов, прочтя страниц пятьдесят:

— И это все, что он мог сказать об Анатоле Франсе? И зачем он вообще пишет о таких пустяках? А еще талантливый! «У меня болит живот», «А если соединить козу со свиньей, то получится то-то», «А негры с женами поступают так-то»... Все это оттого, что он опустошенный. И вообще, до чего пала современная литература! Ведь это знаменитость на всю Европу! Подумайте! И все-таки он лучше вашего Моруа! Это хоть настоящее художество (хотя и фельетон). А там микроскоп и искусственность...

15 декабря. Вчера уехал Роцин. Провожали его как родного. Накануне отъезда он читал нам статью «Вилла Бельведер», которую собирается послать в рижскую газету «Сегодня». Описал в ней весь наш дом и всех в нем живущих, «расхвалил», как выражается В. Н., Ивана Алексеевича.

20 декабря. Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить:

— Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким.



Грасс
Август 1927,
над виллой Вельведер

Г. Н. КУЗНЕЦОВА, И. А. БУНИН, В. Н. БУНИНА

Фотография. Грасс, 1927. С пометой Бунина: «Грасс, Август 1927 г. Над виллой Вельведер»
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Я с ним знаком с 25-ти лет. Он написал мне когда-то первый... Ах, как страшна жизнь!

22 декабря. Утром писала стихи. Потом пришла почта и, как всегда по большей части, расстроила. Илюша написал И. А., что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра II, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за покупками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы — погода была удивительная, все вдаль голубое, мои любимые кипарисы в сухой траве, голый дуб на светлом небе — словом, чудо. Но мы мало

обращали на это внимания — всю дорогу говорили. И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы, в сущности мало им близкие, потому что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульффу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове. «Вот! Это и недлинно, 27 лет всего... Надо согласиться!»

Но тут же стал говорить, что это все все-таки «мануфактура», хотя и надо согласиться, надо быть в передовых рядах действующей армии, тем более что ведь все это будет на четырех языках...

24 декабря. Ходили вдвоем с И. А. гулять перед сном. Полнолуние. Прекрасная, светлая, какая-то высокая ночь, с яркими звездами, скорее пасхальная, чем рождественская. Город пуст. Все в соборе, на мессе. Наткнулись на странную картину — на бульваре, на скамейке, очевидно выброшенные кем-то, после праздничной уборки, чьи-то шляпы. Две из них траурные, с длинным крепом, тихонько шевелящимся на ветру. Очень неприятно, почти жутко.

На подъеме к нашей даче вдруг дружный и нестройно-веселый перезвон, очень похожий на пасхальный.

Мы остановились, долго слушали. На темной колокольне светился одинокий огонь, и от нее расходился кругами и как бы разлетался над всем городом, над долиной и тихими горами радостный, громкий перезвон. И. А. сказал с волнением:

— И вот так странно думать, что пятьсот лет назад звонили точно так же... И какой благостной защитой над всем, даже над смертью был этот перезвон. И как это есть люди, которые не понимают этого!

С порога сада мы еще минуту смотрели, остановившись, на прекрасную светлую пустыню ночи...

28 декабря. Зашла перед обедом в кабинет. И. А. лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим как литературным материалом... «К народу, к прошлому, к будущему...» Замечательно! И как хорошо сказано, что она была «промокаема для всяких неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечерет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши.. Да что! Вот так бы и написать...

Потом о «Дыме», который читал по-французски:

— Нет, что-то плохо. Фамилии ненатуральные... Вот г-жа Суханчикова — к чему он заранее над ней издевается? Это как у Фонвизина: Правдин, Стародум, Милон... Поручик Стебельков какой-то!..

1929

12 января. Сквозь сон все видела отрывки «Жизни Арсеньева» и все хотела сказать, что то место, где Арсеньев сидит у окна и пишет стихи на учебнике — нечто особенное, тонкое, очаровательное. Потом проснулась и, лежа в постели, не решаясь по обыкновению встать от холода в комнате и сознания общего неюта, додумывала то, что вчера говорила И. А. и что он просил записать.

Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и, в частности, о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившего его с Одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня.

Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей, — все это оказало на нас действие — в то время, как прочие писатели пишут или нечто жалобно-кислое, или экклезиастическое, или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано, «фанатик» Бунин вдохновенно славит творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле... Да, это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его господь!...

Я с жаром высказала ему все это. У него были на глазах слезы.

14 января. В «Сегодня» — хвалебный, на самых высоких нотах фельетон Пильского о Бунине. Пишет, что Бунин вышел сам из себя, ничей не ученик, подлинное чудо. Странно, что, когда И. А. читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное это кажется очень плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое, нежное, родное сердце.

9 мая. Днем пололи с Илюшей дорожки в саду, обрезали засохшие прошлогодние цветы. И. А., гулявший среди всего зеленого великоления первого почти летнего дня в своей новой красной пижаме, останавливался, смотрел на нас и говорил:

— Все это ни к чему. Трава растет, где ей бог повелел...

Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит он фонтанов, парков, Булонского леса.

20 мая. И. А. второй день лежит, думает об «Арсеньеве». Уже готовится.

28 мая. Говорили о «Легком дыхании».

Я сказала, что меня в этом очаровательном рассказе всегда поражало то место, где Оля Мещерская, весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина. Я старалась представить себе любую девочку-гимназистку, включая и себя, — и не могла представить, чтобы какая-нибудь из них могла сказать это. И. А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей

«утробной сущности». «Только мы называем это утробностью, а я там называл это легким дыханьем. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти, и есть «легкое дыхание», недуманье. Впрочем, не знаю. Странно, что этот рассказ нравился больше, чем «Грамматика любви», а ведь последний куда лучше...»

12 июня. И. А. все пишет варианты начала четвертой книги, и я уже начинаю смотреть на него почти с набожным изумлением его терпению и упорству — ведь это длится уже с месяц, если не больше, и до сих пор еще нет ни кусочка для перепечатывания!

6 июля. Несколько раз пыталась начинать повесть о двух девушках, но всякий раз все теряется в какой-то расплывчатости. Как медленно делается все во мне! И. А. говорит, что это признак подлинной талантливости и органичности. А вчера был хороший день. Он писал, потом говорил со мной о написанном, тут же читая, и мы говорили чуть ли не о каждой фразе. Вечером, во время прогулки, тоже все время говорили — вообще ничто так не было пережито мной, как «Жизнь Арсеньева». Сколько мы говорили о ней вперед! И я вижу, как все это рождается...

Мистраль. Сад ревет. И. А. ходит по комнатам и говорит нараспев:

Пришел ко мне скучный вечер,
Не знаю, что начать...

Грустно и мне. Берусь за одно, за другое и тоже не знаю, «что начать»...

7 июля. Вчера И. А. весь день писал, а я читала в саду Пруста. Совершенно погрузилась в это чтение.

Вчера, кажется, И. А. говорил мне, как надо было бы писать дневник: — Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи... Такой дневник есть нечто вечное. Да вот даже то, что делает Вера, записи разговоров знакомых, гораздо важнее для нее, чем все ее попытки описывать Овсяннико-Куликовского. Да разве она меня слушает?

8 июля. Перед вечером, ходя по дорожке и думая о жизни, вдруг понял: тоска у детей обуславливается тем, что у них нет прошлой жизни, которой они могли бы занять душу. Жизнь же, лишенная прошлого, пустая позади — очень томит. Отсюда та «тоска по будущему», о которой говорит И. А. в «Жизни Арсеньева», являющаяся в сущности «тоской по прошлому». Говорили об этом с И. А. Потом я говорила ему о том чувстве бездеятельности, которое бывает у меня, когда я не пишу. Он горячо стал говорить то, что говорит всегда в таких случаях, что «это-то и есть самая настоящая работа — чтение, думы, заметки, что за последнее время мной сделана гигантская работа, что я расту не по дням, а по часам, и что единственное условие успеха — не спешить, не метаться».

— Я и сам когда-то испытывал то же, когда сверстники обгоняли. Бывало, Федоров покровительно говорил: «Нет, брат, что эти все рассказы, странички... Нет, ты напиши роман! Гляди, я уже восьмой диктую...» И под влиянием всего этого начнешь думать: а может и правда? Может быть, они правы?.. Но, к счастью, если бы я даже и соглашался на такую работу, что-то во мне не соглашалось. И я ничего не мог из себя выжать «не подлинного»...

11 июля. Вчера В. Н. опять ездила к Гиппиус, а мы работали. Написана новая очень интересная глава: вхождение молодого Арсеньева в революционную среду и описание этой среды, блестяще-беспощадное. С этих пор «Жизнь Арсеньева» собственно перестает быть романом одной жизни, «интимной» повестью, и делается картиной жизни России вообще, расширяется до пределов картины национальной. За завтраком И. А. прочел нам эту главу вслух.

1 августа. Вчера кончена четвертая книга «Арсеньева». Кончив ее, И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар!

После окончания он как-то ослабел, как всегда, и вдруг сказал:

— Вот кончил, и вдруг нашел на меня страх смерти...

14 ноября. Вчера, кажется, что-то поняла в Мережковских. Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты «Арсеньева». Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими, или даже воспринимается отрицательно.

Был разговор по поводу Сологуба, о котором кратко, но весьма для него невыгодно написал И. А. в прошлом фельетоне. Защищая род искусства, в котором действовал Сологуб, Мережковский сказал:

— Вы можете любить или не любить, но вы должны признавать, что кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем действуют не действительные фигуры, а символы, что, может быть, даже и выше первого. Для вас «манекены»? Но ведь и Дон-Кихот манекен! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь — такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из «Мертвых душ» за всего вашего Толстого! А Гамлет? Разве живое лицо?

26 ноября. Уже три дня, как Зуров здесь. Привыкли, немного осмотрелись. В вечер его приезда И. А. читал вслух — пришлось к слову о русском народе — свое «Я все молчу» и потом, по моей просьбе, «Темир-Аксак-Хана». Читал так хорошо, что мне стало грустно, и я ушла к себе, а он пришел туда ко мне, а за ним капитан, который вдруг, со слезами на глазах, обнял его и долго хлопал по спине, говоря: «Ей-богу, дорогой, милый Иван Алексеевич, я вас ужасно люблю!» — что совсем не похоже на обычного капитана.

Вечером И. А. читал вслух Шмелева («Въезд в Париж»), показывая все неточности, ошибки, нагромождения. После этого чтения Зуров говорил у нас наверху: «Я до сих пор не читал Шмелева так, как сегодня. Этот рассказ я читал в „Современных записках“, и он мне нравился. А теперь я увидел...»

Перед И. А. он, видимо, в непрестанном восхищении. В. Н. ходила с ним гулять и расспрашивала его. Он ей нравится. Ходит он сейчас в замашной полотняной рубашке, похож на гимназиста. Глаза у него зеленые, узкие.

3 декабря. И. А. грустен. Опять мысли о старости, о смерти. А прочие веселы, дурачатся, болтают.

17 декабря. Перед обедом сидели с Зуровым у него в комнате, и он читал вслух «Суходол». В середине вдруг оба остановились и стали смеяться, и он сказал:

— Конечно, тот же Суходол! И нечего говорить о Европе! Здесь тот же самый, чистейший Суходол, и все мы оттуда!

31 декабря. Ездили в Мужен. Ходили за вином и сладостями и потом посидели в кабинете И. А., стараясь создать впечатление новогоднего вечера. Не удалось. Каждому в душе было грустно. Кажется, грустней всех был И. А. Я старалась казаться веселой. Что с нами всеми будет в этом году?

1930

23 января. Вчера пришли первые книги «Арсеньева». Зуров разложил их на столе, перед прибором И. А., украсив стол огромным букетом, так как мы были в Сан-Рафаэле, а В. Н. с Маней в Каннах. Вид книги хороший, только бумага плохая, пухлая, сыплющаяся тряпками.

Париж, 13 марта. Встретили с И. А. как-то днем на улице Куприна. Он в летнем пальтишке, весело жметяся.

— Зайдем в кабачок, выпьем белого винца по стаканчику...

Несмотря на то, что мы были с базарной кошелкой, полной бутылок, зашли. Он все знает. Повел к «каменщикам». Даже собака его там знает, он позвал ее: Кора!

Был суетлив, весел. Все напоминал И. А. их молодые годы, знакомство:

— Вот весна, и мне хочется куда-то... в страны... — Это он рассказывал, что какой-то его знакомый едет на Мадагаскар, где неприлично иметь меньше трех жен — уважать не будут. Говорил, что любит ходить в бистро на улице доктора Бланш, где 11 собак и 4 кошки. Интересно, и симпатичные хозяева-пьемонтцы. Хорошее потофе и белое вино. Его всходу знают. Хозяин встречает: Monsieur Куприн!

Он очень мил, хотя только к себе, к своим ощущениям внимателен и все говорит мимо собеседника.

Вышли в снег. Сразу облепило. Он в тонком пальтишке.

— Да вы промокнете, простудитесь после грога!

— А я воротник подниму...

Ласково-грустно почему-то с ним рядом. Как будто все уже в нем кончено.

23 мая, Грасс. Читаю воспоминания Анненкова о Гоголе. Оказывается, Гоголь так же боялся болезней и вида смерти, как И. А.

И. А. тих, много спит, почти не раздражается, вообще никак не похож на парижского. Много сидит у себя, пересматривает рукописи и книги, чтобы дать что-нибудь в газету.

24 мая. Вечером, гуляя, разговаривали с И. А. о писании. Он многое видит во мне и старается помочь совладать. Какое у него зрение удивительное — особенно, когда он любит и желает добра!

4 июня. И. А. читает дневник Блока, как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое...»

12 июня. Алданов пишет, что Куприну собирают на юбилей, собрали тысяч 30, а надежды на 50—60. Жалеет, что И. А. вместо юбилея сделал вечер.

17 июня. Вчера ездили в Канны, и И. А. неожиданно захотел выкупаться, что и сделал, удивив меня своей отважностью. Еще никто не купается, и сам он обычно начинает не раньше половины июня. На обратном пути в автобусе он говорил, что «выдумал для меня весь мой роман». Что писать его надо несвязанными кусками, назвав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам, так как, по его мнению, меня «губит серьезность». «Надо относиться к своему писанию полегкомысленней», — часто повторяет он мне последнее время.

Книги И. А. не дают никакого дохода. За «Арсеньева» он получил 1000 франков, т. е. меньше, чем Роцин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает. Получается в месяц 2500 франков, а жизнь стоит больше трех, не считая квартиры, за нее уплачено деньгами с вечера И. А.

Сегодня по этому поводу были дебаты. И. А. требовал сокращения бюджета почему-то «на салатах», хотя едим мы более чем скромно.

Мы уже сегодня говорили с И. А. — что делать? Работать надо, а как? Живя в Грассе, трудно доставать русские новинки. Когда мы все четверо



Г. Н. КУЗНЕЦОВА, Н. Я. РОЩИН, И. А. БУНИН

Фотография. Грасс, конец 1920-х годов

Центральный архив литературы и искусства, Москва

посылаем в одну газету, — трудно надеяться на общий успех. Да и вообще не нужны мы им, да и не умеем, откровенно говоря, угнаться за моментом, а для газеты только это и интересно.

20 июня. Вчера И. А. весь день разбирал свой архив (письма), раскладывал по стопкам, кое-что показывал. Читал письма своего племянника Коли Пушешникова. Очень хорошо пишет. Влияние И. А. огромное, но все-таки замечательные письма...

21 июня. Второй день живет приболудившийся рыжий песик. Вошел он в сад, когда мы с Леонидом сидели под пальмой, боком подошел, держа торчком остриженные уши и внимательно и испуганно кося на нас черные глаза. Морда у него была черная, точно на нее чехольчик черный надели, в отличие от всего прочего. Худ он был так, что все ребра видны. Дали ему белого хлеба и корку сыра — боится есть. Леонид назвал его «Сухарем». Пробыл он у нас две ночи и два дня, первую ночь подвывал от скуки и одиночества, чем и навлек на себя недовольство. Вчера его изъявил желание взять почтальон, но прислуга отложила дело до сегодняшнего дня. И. А. с ним нежен, он его трогает, несмотря на напускной суровый и даже палаческий вид. «Вот бы написать о нем рассказ», — говорил он.

Сухаря забрал сегодня почтальон, накинул ему на шею ошейник из своего кожаного пояса — какая тоненькая, жалкая оказалась у него шея! — и пытался увести. Но Сухарь стал биться и метаться и укоризненно глядеть на нас черными испуганными глазенками...

Почтальон взял его, огладил, поплевал ему на нос — видимо, чтобы знал хозяина, — и захватил его подмышку. И бедный Сухарь робко, забил хвостом... И. А. говорил потом, что ему так жалко, что хоть плачь.

1 августа. Немного лучше. Веселей, добрей (хотя и с провалами) И. А., а от этого свободней в доме. Вчера даже захотелось писать, когда ходили с ним в город. Летний сухой свет лежал на домах и деревьях, и мы говорили о первых воспоминаниях детства. У него они связаны с видом сухого жнивья в окне, и от этого ему так на всю жизнь мила сухость и жар лета.

3 августа. Возвращаясь вечером с купанья, заметили внизу нашей горы чей-то великолепный темно-синий автомобиль. И. А. пошутил, что это должно быть какой-нибудь американский издатель, приехавший к нему, а когда мы вошли в калитку дачи, навстречу нам с кресла под пальмой поднялась высокая мужская фигура, а за ней что-то голубое. И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим. Рахманинов еще раз поразил меня сходством в лице (особенно где-то вокруг глаз) с Керенским. Галстук, костюм, шляпа, кожа рук — все у него было чистейшее, особенно вымытое, выдающееся.

Разговор вертелся вокруг Шалапина и его сына, живущего сейчас тоже на Ривьере, и предполагаемой постановки в кино «Бориса Годунова», сценарий к которому «развивает» с пушкинского «Бориса» Мережковский. Через двадцать минут они поднялись, говоря, что им пора ехать домой обедать. Мы сначала неуверенно, а потом видя, что они готовы согласиться, с большей силой стали предлагать остаться на обед. После недолгих уговоров они остались.

Тотчас же были «мобилизованы» все съестные припасы в доме. Камий послали вниз за ветчиной и яйцами, я побежала за десертом, и через полчаса мы все уже сидели за столом. Рахманинов попросил завесить лампу, жалуясь на то, что его глаза не выносят сильного света, и с его стороны был спущен с абажура кусок шелка.

Разговор был разбитый и малозначительный. Рахманинов, между прочим, все настаивал на том, что И. А. должен непременно написать книгу о Чехове, перед которым он сам, видимо, преклонялся. Был любезен, прост, интересовался тем, что пишет Зуров, что я, как и кто работает и вообще как мы живем. Остановились они в Каннах, в «Гранд Отеле». У него какие-то дела с Борисом Григорьевым, очевидно, тот будет писать его портрет. Видно, что он очень любит дочь, это было особенно заметно по его рассказу о ее падении с лошади в Рамбуйе, где у них вилла.

Они уехали часов в десять, предположительно решив встретиться с нами на другой день в Каннах.

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи, — сравнивала также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше, и черты лица правильнее.

5 августа. Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. «Босаяцкий обед», по выражению И. А., вышел оригинальным. Котле-



ГРАСС. ВИЛЛА «БЕЛЬВЕДЕР»

Фотография, 1933. С пометами Бунина: «10.XI.33. Villa Belvédère. Grasse. A. M.»

«Моя спальня»; «Мой кабинет»

Литературный музей, Москва

ты, помидоры, сыр и фрукты были с песком, и на всех было только четыре стакана. Рахманиновы подъехали тогда, когда все было разложено; у них были с собой бутерброды с ветчиной и бутылка Виши.

На другой день все мы были приглашены к Алданову в Juan les Pins завтракать. (На прощанье он успел шепнуть мне: «привезите непременно фотографический аппарат, не забудете?»)

Без числа. Сначала мы выкупались на маленьком пляже — вода была прозрачна, чиста, прелестна — потом пошли по направлению к вилле Алданова. Рахманиновы нас догнали на автомобиле. В. Н. и И. А. сели к ним, а Таня вышла к нам, и мы пошли, не торопясь, пешком.

У Алданова в салоне ждал нас накрытый круглый стол, уже заставленный закусками. Сели: с одной стороны И. А., Алданов и Рахманинов, с другой — я, Леонид, Таня и В. Н., завершая круг, рядом с Рахманиновым. В полуоткрытые двери приятно дул ветерок. Из уважения к «знаменитостям» нас отделили от прочих пансионеров, обедавших в соседней комнате. Рахманинов был очень мил, любезен, весел, поминутно обращался к нам, передавая то одно, то другое, сам заговаривал, помогал В. Н. раскладывать с общего блюда рыбу, курицу.

После жаркого нам подали десерт и кофе, закрыли двери и оставили нас одних. Рахманинов, мало пивший и евший очень умеренно, позволивший себе только лишнюю чашку кофе, стал рассказывать о своем визите к Толстому. Говорил он еле слышным голосом, почти шепотом, с придыханиями, произнося «р» вместо «л».

— Это неприятное воспоминание... Было это в 1900 году. Толстому сказали, что вот, мол, есть такой молодой человек, бросил работать, три года пьет, отчаялся в себе, а талантлив, надо поддержать. Играл я Бет-

ховена, есть такая вещь с лейтмотивом, в котором выражается грусть молодых влюбленных, которых разлучают. Кончил, все вокруг в восторге, но хлопот бояться, как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил су-рово и молчит. И все притихли, видят — ему не нравится... Ну, я, понятно, от него стал бегать. Но в конце вечера вижу: старик идет прямо на меня. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен», а он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?». Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..»

Ну и сбежал. Меня туда потом приглашали, и Софья Андреевна потом звала, а я не пошел. До тех пор мечтал о Толстом, как о счастье, а тут все как рукой сняло! И не тем он меня поразил, что Бетховен ему не понравился или что я играл плохо, а тем, что он, такой как он был, мог обойтись с молодым, начинающим, впавшим в отчаяние, которого привели к нему для утешения, так жестоко! И не пошел. Утешил меня потом только Чехов, сказавший по-врачебному:

— Да у него, может быть, желудок в тот день не подействовал — вот и все. А пришли бы в другой раз — было бы иначе.

Теперь бы побежал к нему, да некуда...

— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал И. А. — С начинающими, молодыми, жестокость необходима. Выживет — значит годен, если нет — туда и дорога.

— Нет, И. А., я с вами совершенно не согласен, — сказал Рахманинов. — Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно, — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.

Поднялся спор. И. А. защищал Толстого, говорил, что он думает о нем «давно, лет сорок пять» и что нельзя судить его по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль — так это музыки!» Рахманинов, напротив, утверждал, что музыку он понимал плохо, что в Крейцеровой сонате, например, нет того, что он в ней находит, а что сам он Крейцерову сонату не любит и никогда не играет.

В конце разговора он спросил меня: «А вы работаете?» — Я сказала, что сейчас нет, что у нас «каникулы», что у меня сравнительно недавно вышла книга. «Как недавно? Это уже когда было!» — воскликнул он. «Я ведь знаю, когда ваша книжка вышла. Надо работать каждый день!»

Между прочим, он рассказал, что за столом у Толстого он ему сказал: «Я в себе сомневаюсь, боюсь, что у меня таланта мало...» На это Толстой ответил: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»

Простились очень дружелюбно, хотя уже и в большой толпе, собравшейся в саду. Таня звала к себе в Париж. Рахманинов, задержав мою руку, сказал, прощаясь: «Ну, работайте же, работайте... Смотрите...»

3 сентября. Вчера на ночь читала дневник В. Н. за 1918 год, наново, по совету Леонида, перепечатанный с выпусками лишнего. Интересно. В нем выступает очень И. А. того времени и сама В. Н. с ее детской, во многом трогательной натурой.

Оттуда узнала, что когда-то, на Капри, И. А. после веселого обеда с вином, музыкой, тарантеллой написал на своей книге Горькому: «Дорогой Ал. Мак., что бы ни случилось, всегда буду любить вас».

10 сентября. Встала раньше всех, села за стол. Пробовала писать. Все утро В. Н. и Рощин готовили на кухне, пока мы, остальные, писали у себя.

И. А. занят фельетоном, сосредоточен, поглощен, добр, когда приходит в себя.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражания. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой *как* — так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

14 сентября. В кабинете после обеда И. А. рассказывал, как был в молодости в Яновщине, в доме Яновского, родственника Гоголя.

— Помню плотину, гусей, даже эту знаменитую лужу. В доме же помню почему-то только одну приживалку, которая утром угощала меня в столовой кофе и все при этом откашливала и никак не могла откашлять до конца мокроту. На плече у нее была вязаная гарусная косынка, на голове наколка, и все лицо какими-то нарумяненными кусками. Была она очень со мной любезна и даже как-то кокетлива, все придвигала какие-то рассыпчатые крендельки, булочки, печенья и все приговаривала:

— Кушайте, кушайте, молодому человеку надо есть...

Оттуда я пошел на Шипаки и Сорочинцы к знакомому Яковенко. Это был мужчина с длинной бородой, голым черепом и вполне сумасшедший. Помню, он все говорил, что будет интересно познакомиться с докторшей. Потом мы с этой докторшей сидели на обрыве, под которым неслась очень быстрая речка, и слушали пение, в унисон, на селе, необыкновенно прекрасное, и она говорила, что хочет «невозможного»... Ну, я очень скоро смылся, потому что ясно было, что это за «невозможное», а с такими, если свяжешься, — потом нет никакой возможности развязаться...

Посмеялись, пошутили на эту тему. Потом Зуров спросил, был ли И. А. на севере. И. А. сказал, что был в Вологде.

— Когда?

— Да году в шестнадцатом. У Сашеньки.

— Кто это — Сашенька?

— А это его подружка по Орлу, — смеясь ответила за него В. Н.

— Какая это подружка?

— А это, когда я еще был в Орле, пришла в редакцию барышня, такая, с очень нежным цветом лица, мгновенно вспыхивающая, в длинной черной юбке и сапогах с ушками. Принесла рукопись — «История кусочка хлеба». Редактор дал мне прочесть. Оказалось так талантливо, что мы ухватились за нее двумя руками. Вызвали ее, она пришла, да и говорит:

— Мне с отцом очень тяжело жить...

А отец у нее был старый профессор с большой ногой, вполне бешеный и на всех замахвающийся палкой и пускавший ею в кого попало. Ну, редактор пригласил ее жить при редакции. Она переехала, и он тут же очень быстро, невзирая на наличие молоденькой, с ямочками на щеках жены, лишил ее невинности...

— Ну, а потом?

— Ну, а потом мы долго не видались. Она была идейная революционерка. Когда я приехал к ней в Вологду, она жила с каким-то рабочим,

большевиком. Я пришел к ней в дом, поднялся по какой-то грязной лестнице, где пахло нечистотами. Постучал, она вышла, все в такой же длинной черной юбке, с седыми обрубленными волосами, выкатила на меня глаза, как два облупленные яйца.

— Сашенька! Что же ты здесь живешь?

Она сразу узнала меня, стала говорить:

— Да, я теперь живу с рабочим... Он чудная душа, необыкновенная, только, конечно, все-таки мне тяжело...

— Сашенька, да как же тебе не стыдно! Ты ведь хорошая была барышня!

— Да, да что ж делать... Знаешь, Иван, только лучше нам куда-нибудь уйти, я здесь на положении не вполне легальном... Хозяйка может подслушать...

Мы вышли. А тогда была весна, ярка и густа зелень. Пешеходы были деревянные и такая грязь, какой я нигде не припомню. По этой грязи нырял извозчик, я кликнул его, мы сели.

— Куда везти?

Я сказал ему везти за город, он повез, мы поехали к монастырю. А монастырь этот вырос прямо из черной равнины, и была такая прелесть в его стенах, эта белизна, толщина, грубость... Потом этот голый деревенский погост... словом у меня осталось от этого такое прелестное впечатление, что вечером я сказал себе: «Нет, шабаш, надо уезжать!» — и уехал, хотя она и просила остаться.

Рассказывал он это так, точно уже готовый рассказ читал.

16 сентября. У И. А. есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды, когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70—80 фр., которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грассе, которым он писал 7 лет, написал «Митину любовь» и «Дело корнета Елагина», но теперь он уронил его, и перо разбилось.

1 октября. Завтракал Адамович. Сразу начался разговор с И. А. о Толстом и Достоевском. И. А., как всегда, говорил, что Достоевский не производит на него никакого впечатления. Он многое просто забывает, сколько бы ни перечитывал. Потом говорили о советской литературе.

Говорили о Катаеве, о некоторых других, но все как-то бегло. Между прочим, И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода.

— Да, но тогда будет как с питательными пилюлями, — сказал Адамович, — а хочется чего-то больше.

3 октября. И. А. прочел и дал прочесть мне «Семейную драму» Герцена. Читала вчера на ночь и сегодня утром дочитывала. Чувство как при чем-то личном. Потрясает искренность и вообще веяние какой-то другой, более откровенной и полной натуры. И как описана смерть и это море, бессмысленно двигавшееся и мерцавшее за окном комнаты, в которой лежала умершая! И его «шипение» и то, что сказано о мертвой, что «кротко застыли скорби и тревоги, словно страдания кончились бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел, смотрел всю ночь...»

«Когда мы всходили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве...»

Все это было здесь. И вот уже все опустело, как театр, и актеры исчезли, и все изменилось. И теперь мы действуем здесь, и все это пройдет так же скоро...

Весь день была под впечатлением прочитанного, ходила смотреть на Эстерель, на туман долины, в котором прятались огоньки Бокка, на черносиние тучи, покрывавшие небо, в прогалинах которых ныряла белая полная луна, и все думала о том, что было здесь 80 лет назад. Вечером И. А., Рощин и я ходили по саду; И. А. говорил, отвечая на его слова о том, что все, что он пишет, «пока» и «для широкого читателя», а настоящую книгу, хорошую, он напишет потом и «будет писать ее долго».

— Нет, не потом надо, а сейчас, — говорил И. А. со своей обычной энергичной силой в голосе, — сейчас, пока еще нет такой книги. Смотрите, о войне у нас не написал пока никто ничего настоящего. А вы бы взяли и написали вот так, как вы сейчас рассказывали о войне, именно о ее буднях, а не захлебываясь лиризмом и патриотизмом. Нет, это все оттого, что вы русский человек, капитан, а русские запаздывают и в молодости. Вы должны были бы бросить этот ваш поганый роман и написать настоящую правдивую книгу. Только без лиризма! Не надо «открывать читателю свою душу», не надо становиться с ним на равную ногу. Он уважать не будет. Надо его бить по голове, писать жестко, спокойно, только это и производит впечатление...

23 октября. День рождения И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он «с ума сходил перед днями своего рождения, часто уезжал куда-нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро. Гуляли по саду. Очень теплый солнечный день. Он шутил с Рощиным, гулял с нами всеми тремя перед завтраком, хотя даже и не переоделся, все в том же старом полосатом халате с растрепанными завязками.

25 октября. День ангела И. А. В доме попытка праздника: все приоделись, к завтраку была любимая И. А. рыба. Однако он пишет весь день, чему я рада.

Вечером, после обеда и выпитого вина, ходили вчетвером по площадке нижнего сада (Монфлери) и разговаривали. Было холодно, ветер размахивал черными перистыми ветками пальм, звезды горели голубоватыми огоньками. Мистраль.

Перед этим И. А. читал написанные за день кусочки в столовой, где на белой пустой скатерти венком лежали темные тени гвоздик, стоявших в зеленой кубышке посредине. Читал он, опершись локтем на камин, стоял к нам лицом, так что на плечо ему другие гвоздики, стоявшие на камине, клали свои красные головы. Как точны, великолепны, несомненны все слова в этих «маленьких рассказах»! Точны, как самые совершенные стихи. Это особенно чувствуется, когда он читает вслух.

29 октября. Вчера вечером ходили гулять вчетвером, чего уже давно не делали. Ходили на дальний бульвар, в противоположном конце города. Разговаривали о литературе. Дошли до маленького пустыря за бульваром. Над смутно белевшим треугольником какого-то одинокого дома, казавшегося хатой, низко висел желтый ломоть месяца, похожий на ломоть переспелой дыни. Горы, сливаясь во что-то черное, казались издали степью, и И. А. сказал:

— Прищурьтесь немножко, и вы легко можете себе представить, что вы где-нибудь в екатеринославских степях, под Никоподем. Дом этот оглично мог бы быть хатой, а тот черный туман позади — степью...

23 ноября. Редкий по чистоте воздуха и великолепию красок день. Тепло настолько, что все окна открыты. Утром писала.

И. А. все мучается с заглавием книжки. То «Новые страницы», то «Краткие рассказы», то что-то неопределенное, подходящее под понятие «Альбом писателя», но без невозможного слова «Альбом».

2 декабря. Отослали с И. А. рукопись его книги «Божье древо». Зашли в церковь. В ней, пустой, гремел какими-то железными трубами орган. Сидела у моря одна, пока И. А. ездил к Мережковским.

Солнце зашло в мутный дымный газ неба, на котором стройно рисовались снасти стоявшей у мола одинокой яхты. Поверхность моря была серая, бугристая, с прерывистым неприятным блеском по ней. И. А. шел и говорил, что у него бывает иногда страстная потребность увидеть северное море, что, должно быть, это во всех нас, русских, заложено.

— Да ведь, бывало, выйдешь из Босфора в Черное море — так сейчас и пошел ветер и пошло валить, и труба начинает сипеть как-то по-особенному...

На обратном пути все говорил, что пора приниматься за «Арсеньева». Он сейчас после отправки книжки очень устал, как-то весь обмяк, но маленький отдых — и он опять может писать.

14 декабря. После завтрака ходили с И. А. ненадолго гулять наверх. Говорили о Муратове, которым И. А. после каждой новой статьи очень восхищается, об Ольге Жеребцовой у Алданова и Герцена. По-моему, у Герцена она хороша, но у Алданова видна совсем по-иному и вместе с эпохой попутно. Потом спросила, как И. А. писал «Деревню», с чего началось.

— Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут я получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...

Гуляли очень приятно. Солнце, зелень как-то особенно светится над водой. И. А. стал отдирать один серый лист агавы от другого, еще плотно вложенный один в другой, как в футляр.

— Точно крокодилья пасть! — говорил он. — И какая сила! И все, чтобы не съел кто-нибудь.

Домой шли мимо любимой площади принцессы Полины над нашей виллой. Увидели, что прелестную старую грядку из серых камней, отделывшую обрыв, сломали и строят безобразную бетонную с рыже-красными прутьями изгородь. Огорчились ужасно. Какое ослиное понятие о красоте надо иметь, чтобы делать такую замену!

— Да что! Все здесь скоро испакостят! — с огорчением сказал, уходя, И. А.

18 декабря. На днях вечером сидели в кабинете И. А., и разговор зашел о Достоевском. И. А., который взялся перечитывать «Бесов», сказал:

— Ну вот, и опять в который раз решился перечитать, подошел с полной готовностью в душе: ну, как же мол это, весь свет восхищается, а я чего-то, очевидно, не доглядел... Ну вот, дошел до половины, и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком... И нисколько не трогает! Бесконечные разговоры, и каждую минуту «все в ожидании», и все между собой знакомы, и вечно все собираются в одном месте, и вечно одна и та же героиня... И это уже двести страниц, а никаких «бесов» нет... Нет, плохо! раздражает!

— Что же ты хочешь сказать? — спросила В. Н.

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а «мир», что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом.

— Что же вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель? — закричал Зуров.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю...

— Да как же это так? Что он не любит описаний природы — так ему вовсе не до того, а что он так спешит, так это потому что ему некогда было отделять, вы же знаете, как он писал...

— А я утверждаю, что он иначе и не мог писать, и в свою меру отделял так, что дальше уже нельзя... Вслушайтесь в то, что я говорю: все у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплеть... Иначе он и не мог писать.

Зуров вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В. Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И. А., и в жизни всего нашего дома. И. А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько ни читал Достоевского, через год ничего не помнит.

Поднимается ужасный шум. Спор, конечно, кончается ничем.

20 декабря. Демидов прислал И. А. по поручению Милюкова статью одного журналиста из Стокгольма о Нобелевских лауреатах. В конце этой статьи автор пишет, что у лауреата этого года было два серьезных соперника: Мережковский и Бунин. Что «Жизнь Арсеньева» искали и не могли найти в переводе — она есть пока только на итальянском — и что самый вероятный кандидат на будущий год — Бунин, если только его выставят кандидатом до января 1931 года.

И. А. читал это за завтраком вслух. Никто из нас этого не ждал, и поэтому все были как-то оглушены. Потом начались советы и совещания, что делать. Конечно, явилась мысль о необходимости нажать некоторые кнопки — письмо для этого, видимо, было переслано — написать кое-каким знакомым, а главное, позаботиться о переводе. После завтрака И. А. сел писать письма. Теперь ему предстоит волнения, заботы и, может быть, напрасные, так как вряд ли дадут премию русскому. И в результате будет большое разочарование, большая горечь.

30 декабря. Томас Манн прислал И. А. в ответ на «Жизнь Арсеньева» свою «Смерть в Венеции» по-итальянски с очень любезной надписью.

1931

15 января. Радостные известия из Швеции. Будто бы проф. Агрелл твердо сказал, что все сделает, чтобы премию дали Бунину.

И. А. сказал мне это в большом волнении.

Он поглощен этим, лицо у него взволнованное, он сидит без пиджака в одной белой с помочами фуфайке и, не глядя стряхивая пепел с папирсы, пишет одно письмо за другим. Я ушла от него, попросив помнить только одно: что надо все-таки до времени сдерживать себя и не давать до конца увериться в успехе — все может еще перемениться. Потом пошла в сад, ушла наверх, долго ходила и сидела в каменной нише на верхней террасе, смотрела на гору, на долину, на оливки, казавшиеся от освещения железными.

Вот жизнь на пороге поворота. Все может вывернуть и понести куда-то. И как ни странно и ни тяжело иногда бывает — будет ли лучше? И как И. А.

ни тяжела нужда, лишения — будет ли лучше тогда? Ведь сумма эта вовсе не сказочная, а на нее станет рассчитывать чуть не половина эмиграции. А дома? А В. Н.? А все мы, неуравновешенные, нервные? Он сейчас так рассеян, так отвлечен. А что будет с его здоровьем при неизбежных излишествах?

24 января. Третьего дня были на чае у Фондаминских и видели В. Ильина, философа, композитора, профессора, автора «Серафима Саровского».

Ильин и И. А. заспорили о французах, о «провалах» у них в литературе. Ильин находил их легкими и сравнительно поверхностными и уж никак не жестокими.

— Позвольте, а Бодлер, а Верлен? — говорил И. А.

— А Поль Валери... — врывался Ильин.

— Да нет, возьмите хотя бы Флобера, по-моему недооцененного, — говорил И. А.

— Положим, вполне оцененного, — вставлял Ильин.

— Нет, недостаточно с той именно точки, о которой я говорю. Я вот перечел недавно «Бовари». Какая там звучит над всем и надо всеми нота глубокой меланхолии, безнадежности! (Такая нота у французов его времени! Это впервые!)

— Ну, да-да... — соглашается Ильин. И, повернувшись в другую сторону к Илье Исидоровичу, стремительно переходил на музыку: — Ах, я вот все о Чайковском... Знаете, он недостаточно оценен! Какие у него есть симфонии! И знаете, он всегда работал! Есть у него одна «Фантазия», просто изумительная, а вот недавно я читал его дневники, и там стоит: «иду работать над осточертевшей „Фантазией“»... Он не ждал вдохновения.

— А Толстой?.. — вопросом ответил И. А.

Потом Ильин рассказал, как в 18-м году, в Киеве, от зажигательного снаряда у него погибли все рукописи и готовая партитура симфонии, которая уже должна была исполняться в киевской консерватории. Ему было тогда 28 лет. «И все, все погибло!»

— Каждый человек эгоист, — сказал с улыбкой И. А. — И поэтому, я о себе скажу, что я бы дорого дал, чтобы какой-нибудь снаряд сжег все мои юношеские произведения! Нет ничего ужаснее этого незрелого груза за плечами! И вы, наверное, теперь написали бы вашу симфонию заново и много лучше...

— Да, представьте, я теперь вот, бродя по полям Манделье, часто присаживаюсь на камни и разыгрываю мысленно свою симфонию — и она выходит куда лучше!

— Ну, вот видите!

31 января. Вечером еще раз гуляли, и далеко. Была прекрасная лунная ночь. В. Н. и Леонид ушли далеко вперед, а мы с И. А. и капитаном, не торопясь, тянулись сзади. И. А., говоря о Чехове, между прочим, рассказал, что он из скромности когда-то написал в воспоминаниях о нем: «Чехов сказал: написать бы такой рассказ, как „Тамань“, да еще там что-то и умереть». А на самом деле было иначе. И. А. указал ему на „Тамань“ как на один из самых прекрасных перлов нашей литературы, и он, подумав, согласился с ним и тогда уже сказал записанную фразу. «А теперь все подхватили, и вот опять читал недавно у Муратова о „Тамани“... А до меня никто о ней и не думал».

Очень хорошие вести из Стокгольма. Выставлена кандидатура И. А. Кроме того, переслано письмо Эм. Нобеля, где он пишет, что он за Бунина: прочел пять-шесть его книг и в восторге от них.

Ходили с И. А. в город. Говорили о том, как было бы хорошо ехать через год в Швецию. Но он и говорить об этом из суеверия боится.

БУНИН

Фотография. Грасс, 1932

С автографом писателя:

«14.V.32. Grasse. А. М. Ив. Бунин»

На обороте — письмо Бунина

А. П. Ладинскому от 27 июня 1932 г.

Центральный архив литературы
и искусства, Москва

3 февраля. За завтраком говорили о Толстом, Достоевском, о прозе Пушкина. И. А. с распушенными после вчерашней мойки волосами, в новом костюме «дубового» цвета, был очень оживлен и любезен.

Заговорили о прозе Толстого и Пушкина.

«Проза Пушкина, — сказал И. А., — суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как, может быть, аристократична проза Петрония, который все знал, все видел и, если и решил написать о пире, где подавались соловьиные язычки, то не унижится — вы понимаете, в каком смысле я говорю это, — до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали. А Толстой был слишком чувствен для этого.

15 февраля. Все утро, не вставая, писала немного лихорадочно, а тотчас после завтрака пошли с И. А. гулять: день был великолепный, голубой, теплый.

Сделали прекрасную прогулку по каналу. Голый, еще ярко освещенный серый сухой лес по горе, фиалки, прелесть травы, земли, грубых домов с живописными большими деревьями над ними.

Выйдя на отлогий сухой скат, сели и загляделись. Перед нами была вся гора, составляющая правую часть Горж дю Лу, мягко освещенная, с какими-то теплыми розовато-персиковыми тонами, в темных кустиках, посаженных часто, как украшения на женской юбке, и вся гора походила на часть огромного, отлогого, далеко простертого кринолина, сходящего в лощину. Позади были серо-сиреневые за голубым, тончайшим воздухом горы Ниццы, белая свечечка маяка на мысе Ферра. И была такая тишина, что мы оба точно застыли, вслушиваясь в нее. Слабыми, страшно далекими казались дальние редкие гудки автомобиля.

— Тут понимаешь высоту духовных радостей,— сказала я.— Собственно, чего тут можно желать? Только смотреть. И приходят мысли об отшельниках.

— Да, связка соломы, кувшин сводой... — задумчиво, издалека сказал И. А. Он лежал на земле и смотрел.— И немного грустно и безнадежно.

— Нет, какая безнадежность! В этом и безнадежности нет. Просто, нет нужды в ней... Отсутствие... всего. Просто видеть. Чего тут можно желать? Всё эти горы пережили и переживут.

21 февраля. Вечером И. А. читал мне вслух «Косцов» и «Аглаю». Последнюю читал особенно хорошо, и, когда кончил, у меня лицо было мокро от слез. Как прекрасно написана эта вещь! И как он замечательно читал ее!

На мой вопрос он сказал, что много прочел, прежде чем писать ее.

— Вот, видят во мне только того, кто написал «Деревню»! — говорил, жалуясь, он. — А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это! А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов, и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот такая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, как выдуман! В котелке и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! «Утешил, что истлеют у нее только уста!» — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что «Деревня» — роман, все завопили! А в «Аглае» прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла, — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа — почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и «Песня о Гоце». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад.

И он прочел, опять изумительно, и «Песню о Гоце».

28 февраля. Письмо от некоего Олейникова, женатого на сестре Нобеля, с знаменательной фразой о том, что он надеется на «русский обед» в будущем декабре, на котором сможет увидеть Ив. Бунину — нобелевского лауреата.

И. А. несколько взволновался. Он, как и мы все, не позволяет себе зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все же...

Утром читала «Братьев Карамазовых». Только теперь по-настоящему понимаю Достоевского. Несет, как Ниагара, утомляешься даже. Странно одно: как-то вдруг чересчур он мне стал ясен, понятна психология каждого героя, почти наверное знаю, что будет дальше, и это без враждебности говорю, а просто — знаю.

С И. А. о нем говорю сравнительно мало. Он начинает волноваться, как-то сказал:

— Я и имя это — Алеша — из-за него возненавидел! Никакого Алеши нет, как и Дмитрия, и Ивана, и Федора Карамазовых нет, а есть АВС...

Но в то же время это у него сложно. Достоевский ему неприятен, душе его чужд, но он признает его силу, сам часто говорит: конечно, замечательный русский писатель — сила!

О нем уж больше разгласили, что он не любит Достоевского, чем это есть на самом деле. Все это из-за страстной его натуры и увлечения выражением.

17 марта. Известие от Олейникова. У Эм. Нобеля кровоизлияние в мозг, упал в ванной. Пока жив, но «в течение 10—14 дней должно выясниться, сколько ему осталось доживать».

И. А. читал письмо за завтраком. С первых же строк весь покраснел и ударил кулаком по столу:

— Нет! Вот моя жизнь! Всегда так!

И, действительно, он не раз говорил, что за этот год что-нибудь непременно должно случиться, что помешает получению премии, — или война или еще какое-нибудь событие. Возможная смерть Нобеля, конечно, большой удар. Олейников очень утешает, пишет, что шансы на успех те же, но все-таки, конечно, это уже не то. Между прочим, пишет, что Шмелева тоже выставили. И. А. это почти оскорбило. «Кем? Да ведь это смехотворно!»

В общем он так взволновался, что мы предложили ему идти тотчас после обеда к Фондаминским и с ними вместе идти гулять. Пошли. Мы с ним шли впереди. Он был очень взволнован, я тоже, но как-то нашла слова, которые его тронули. Он с жаром воскликнул:

— Да, да, правда! Надо как-то сказать себе: Да будет воля твоя! Иначе ничего не сделаешь.

19 марта. Позавчера вечером пришли Брежнев с незнакомым господином и дамой, «яснолицой и хорошо одетой», как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондаминским. И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, концессионер, она его жена — сестра Германовой. Рассказывали о России в таком духе:

Он (с акцентом): О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д. и т. д.).

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. «У нас в Ленинграде» — в первый раз за много лет мы это услышали.

16 апреля. Вчера после обеда Федор Августович (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России», — говорил И. А., — а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее «инсценировки» всяких Белых, Блоков и т. д., а это не годится.

Федор Августович начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Белый, и Блок, и его Россия, и его «хлыстовство» (разумая под этим всякое опьянение), и «плат узорный до бровей».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедню себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего недостает мне в вас, например, нет безумия, невнятицы, вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печеньку, а Аверкий, умирающий в пустоте!..

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня вы и Блок — как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что вы не терпите рядом с собой другого, может быть есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А вы по звездам стреляете — так что же вам быть справедливым!

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть, в конечном счете, литература и пошлость.

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких

«Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. В России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни, — стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов, — не слушая, говорил И. А. — Россия жила помимо нее.

Потом Федор Августович читал — очень выразительно — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха, — сказал И. А. — Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... И вообще, если я чувствую в произведении аuru художника, это меня уже болезненно ранит. Для того, чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его аuru — аuru произведения.

22 апреля. Вечером И. А. читал нам вслух «Юлиана Милостивого» Флобера и сам так восхищался, что заражал других.

5 июня. Вечером во время прогулки В. Н. сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был. И. А. рассказал:

— Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была «взрослей» меня, хотя ей было 32—33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатыванья — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, «умные» разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было нисколько чувства к ней, как к женщине. Мне нравились переулочек, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом... Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того, и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Х: «Выходите за меня замуж...» Она расхохоталась: «Да как же это выходить замуж... Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить...» Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Х. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н.: Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей. Ведь это было в июне, а в сентябре он женился.

И. А.: Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: что бы я с ней делал? Куда бы я ее взял?

Он еще рассказал между прочим, что когда Катерина Михайловна смеялась над ним, он как-то сказал ей: «Вот увидите — я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!»

21 августа. Печатала под диктовку И. А. фельетон о принце Ольденбургском. Еще раз подумала о том, как тщательно он работает, как правильно ставит всюду знаки препинания, как выработан у него каждый кусок, каждая фраза. На это-то у меня почти постоянно и не хватает терпения.

Главное, что часто изумляло меня в И. А., — что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с жотти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, хочу все чего-то огромного... а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке.

8 октября ... печатала старые, 1901 года, рассказы И. А. с его вычеркиваниями для газеты: «Только раньше дай мне слово, что зачеркнутое читаться не будет. Я прошу ради бога. Честное слово?»

Таким манером он вычеркнул почти все: из рассказов в 5—6 страниц делаю 2, 2¹/₂. Печатая то, что я так хорошо когда-то знала, как, например, «Надежду», которую даже переписывала когда-то гимназисткой, я думала о том молодом, еще неопытном и умильном, что есть в этих рассказах. Тогда ему было столько лет, сколько мне теперь.

9 октября. И. А. сам принес и прочел нам найденную им во французской газете заметку о том, что Нобелевская премия в этом году назначается секретарю шведской Академии, поэту, умершему в апреле этого года. Расстройство его — для него это удар, так как больше всех надеялся на премию, — выразилось только в том, что он пошел в город за газетами и немного возбужденнее обычного говорил: «Ведь тут дело даже не в деньгах, а в том, что пропало дело всей моей жизни. Премия могла бы заставить мир оборотиться ко мне лицом, читать, перевести на все языки».

13 октября. И. А. со времени получения известия о премии обложился своими «молодыми» сочинениями и сел за работу. Вычеркивает, исправляет, надписывает. Неудачи заставляют его крепче собираться. Это замечательная в нем черта, молодая.

19 октября. И. А. говорит, что у него бывает теперь временами огромное физическое и душевное отчаяние. Причины не совсем ясны, но, по-видимому — невозможность писать, нездоровье, боли в руке и в боку, горло. Ему надо было бы поехать в Париж, переменить место, но он говорит, что не может себе представить ночи в отеле. Одному страшно.

23 октября. В саду шумит затяжной дождь. Вдруг стало темно и холодно. Сегодня день рождения И. А., он старается побороть грусть по этому поводу, занять себя работой — что-то пытается писать у себя в кабинете.

Вечером сидели у меня. Леонид прочел вслух рассказ Чехова «Белец». Как полезно перечитывать Чехова, Толстого! Мы все-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия, а она вот какая! Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в пирогах и блинах Россия — ужасна.

13 ноября. Ходили втроем гулять по каналу. И. А. рассказывал о своей первой книжке стихов, которая вышла как приложение к «Орловскому вестнику». Ему было лет 19. Обложка книжки была из бумаги, на которой чередовались: китаец, домик, мостик. «Одним словом, вроде той, которой оклеивают в некоторых местах уборные. Редактор «Вестника» был, конечно, человек сумасшедший. Представьте себе, кому нужна была эта книжка в Орле! Но за нее дали мне 40 рублей, а мне хотелось шпатель, вот я и взяла».

— В вас действительно верный инстинкт. Вам тогда нужно было шляться, — сказала я.

— Да, конечно, И. А., — сказал Леонид. — Вот мне, например, как было бы полезно, если бы деньги, сесть в поезд и поехать куда-нибудь в Бургундию или даже по Провансу.

— И очень жаль, что я тогда шлялся, — сказал И. А., — если бы я тогда не терял времени и вовремя учился, работал — чего бы мог надеяться!

— Как! — воскликнул Леонид. — Да ведь надо работать над чем-то! Ведь то, что вы тогда ездили, дало вам потом материал для работы!

— В молодости, когда чувства и душа недостаточно развиты, видимое чаще всего подавляет. Для того чтобы почувствовать, надо тоже быть в известном возрасте.

Мы вышли на обрыв и сели на камни, глядя вниз, где в голубом тумане делала петлю дорога и широко, до моря, разлеглась долина, усеянная россыпью белых домиков. Позади были горы — оттуда стукнул выстрел.

— Вот разве я, когда слышал, как отец стреляет, — разве я мог почувствовать этот выстрел, то, что он сначала как бы ударился во что-то, а потом разорвался... и многое другое, что бы я добавил сейчас и чего не мог бы разобрать тогда, — снова заговорил И. А. — Вообще, пока человек молод и неразвит, его или подавляет виденное или, напротив, так изумляет, что он ничего не может о нем сказать. Пока человек не вышел из чего-нибудь, не возвысился над ним — не он владеет им, а оно им. Все настоящее начинается собственно с 33-х лет.

— Поэтому, И. А., я думаю, лучше всего писать не о себе. Молодому автору лучше быть подальше от себя, — сказал Леонид.

— Ну, отчего же? Напротив, все делали как раз так. Сначала пишут о себе.

— Ну тогда надо как-то очень изменять.

— А Толстой? Очень изменить — вместо *Левочка* назвать *Николенька*?

— Почему вы, И. А., так мало ездили по России? Вот это ваша ошибка, вы должны были бы все объездить.

— Да ведь это вам, когда вы потеряли Россию, все представляется так. А мне что же? Когда есть свой дом, в некоторые комнаты и не думаешь заглядывать. А когда потерял — кажется, всюду бы пошел. В Париже вон все бегут осматривать Нотр-Дам, а в Москве разве кто-нибудь ходил в Кремль?

— Я в Париже не видела могилы Наполеона, до сих пор не была в Инвалидах, — сказала я.

— И ничего не потеряла, — ответил И. А. — Более неудачно устроить могилу Наполеона нельзя было. Это производит не больше впечатления, чем кафельный пол в уборной.

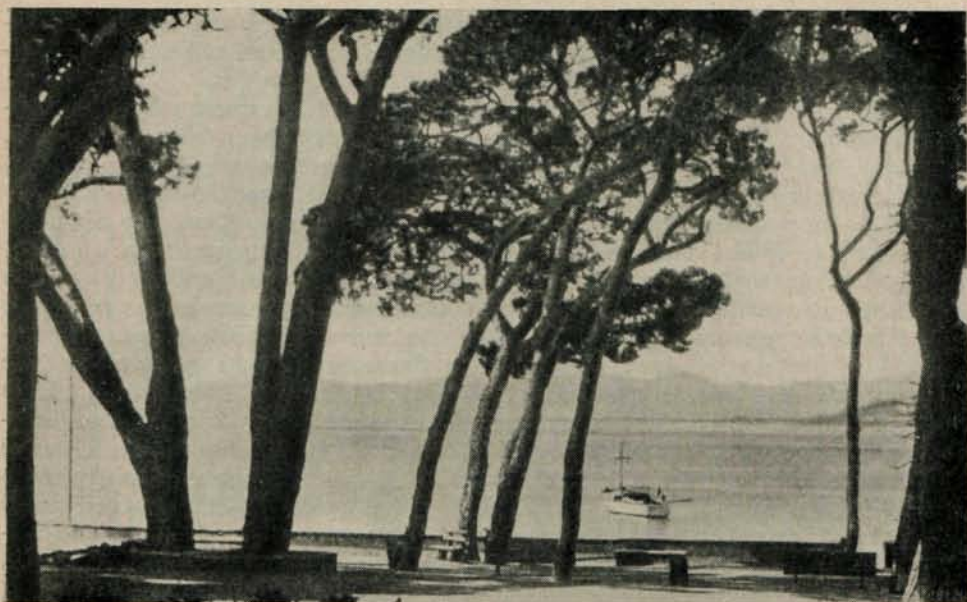
10 декабря. И. А. подписал контракт с англичанами на «Жизнь Арсеньева».

После обеда, сидя с И. А. в его кабинете, разговаривали о Петрарке. Он перечитывает книгу о нем и попутно делится со мной своими мыслями. Читал мне его сонеты. Пробовал рисовать внешность Лауры. Говорит, что думает, что в большой степени все эти сонеты были литературой, жизни в них мало и что Петрарка был средний поэт и только торжественный и горестно-величавый звук в его собственных словах о смерти Лауры убеждает его в ее подлинном существовании. Она умерла от чумы утром 6 апреля 1348 года и в тот же день вечером была погребена.

14 декабря. Вечером у меня в комнате И. А. говорил:

— Ну как это перевести — «скиглит чайка»? А ведь как выражено!

— Да это просто звукоподражание, — с легким презрением сказал Леонид.



В ОКРЕСТНОСТЯХ ГРАССА (ЖУАН-ЛЕ-ПЭН)

Открытка, 1930-е годы

На обороте письмо Бунина М. В. Кaramзиной 8 августа 1939 г.

Собрание В. В. Шмидт, Тарту

— Да, а вот как выражено! Это именно эти звуки (он показал голосом, как кричит чайка). А вот например: — «За байраком, байраком, — в поли могила. — Из могилы встает — казак сивый, похилый». «Похилый» — как сказано! А перевести нельзя. Я пробовал переводить Шевченко. Не то! Так же и поляков. Самые близкие «смежные» языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они еще слишком близки к природе, они еще в диком состоянии — откуда и их прелесть — и при переводе не входят в семью языков, культурно развившихся.

16 декабря. Холодно. Топят печку только на лестнице, и от этого особенно холодно внизу. Столовая кажется еще холоднее от белой холодно-блестящей клеенки на столе. Цветы в саду стали бледными, слабыми. Ночью я не могу согреться, несмотря на три одеяла. Мне снятся какие-то холодные горькие сны. Мы слишком много бываем только друг с другом и совсем не видим людей. День серый, мутно-зимний. Утреннее солнце не удержалось. Вчерашние чайки в Каннах, выстроившиеся на деревянном помосте на берегу, предчувствовали непогоду правильно. Ночью было бурно. А часа в два стояли с И. А. на конце мола в Каннах и смотрели на порт, на выстроившиеся над нами дома, на ряды белых с толстыми глиняно-желтыми трубами яхт. День был прекрасный, немного грустный от пестрых красок, от карусельной музыки, несшейся с берега — вдоль порта выстроилась ярмарка. Только чайки спокойно сидели и покачивались на волнах.

Декабрь. После обеда И. А. читал нам в кабинете те небольшие кусочки, над которыми работал последние дни. Читал, как всегда, превосходно, оттеняя голосом все главное. Особенно понравился отрывок про петербургского студента.

После обеда мы с И. А. ушли в конец сада и сели на скамью. Выходила луна. Ночь была облачная, прохладная. Начали говорить о писании.

— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает? — говорил он. — Из какого жалкого, пустячного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из нее.

— То, что у каждой девушки бывает счастливое лето, — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Таубе, и там же был аристон, и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволоный, темнотубый... А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиную у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни». А юридическое я взял от Ивана Яковлевича Корейши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонники заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал — и прямо в поклонницу, — в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться... И вот, так как жрал он много и был грузен и долго стоял, то быстро лопнул и текло из него так, что под гроб пришлось поставить тазы, и вот представьте себе! Эти поклонники, разные купчихи, кинулись, давя друг друга, с тем, чтобы обмакнуть вату в эту сукровицу и унести с собой домой.

— Что за гадость!

— Да, да, и было это всего 70 лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и материалы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина, — сказала я. — Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда нигде не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста...

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья... и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и, почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется... И вот идем мы через буфетный чертог и все поглядывают... Все знают, что этот господин — шурин эдешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко, и все тоже

смотрят, все знают... И так приходим в домик... А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними... Ах, страшна жизнь!

А ночью, чуть горит прикрученная лампочка, и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко распахнется, залезет ребенок: «Бабушка!..» — и сейчас же сонное плепанье ее ног и шепот... А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх...

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбунове.

— Здолбуново, Смела — все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние... Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски... Она умица, талантливая... и вполне сумасшедшая, конечно. А то бывало пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится... Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке, такого какого-то рытого бархата... Ах, как все это страшно и жалко...

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости. И, слушая его, я все смотрела на туманное небо, туда, где рваные перламутровые облака медленно смыкались, как медуза, собираясь поглотить тусклую, смертельно грустную луну...

— Все это непременно надо написать, — сказала я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь, — грустно твердил он...

1932

28 февраля. Говорили с И. А. о «Кларе Милич». Он говорит, что она была написана Тургеневым с певицы Кадминой, портрет которой он видел. «В кокошнике, в русском костюме, со сросшимися бровями, она напоминала лицом какую-то старую русскую царицу...»

Впрочем, в «Кларе Милич» он ничего не нашел для себя, по его словам.

«Для И. А. сейчас нет собеседника в литературе», — сказал как-то Леонид.

Вечером И. А. читал мне стихи Пушкина. Читает он их так, как, пожалуй, сам Пушкин должен был читать: то важно, то совсем просто, то уныло... Но лучше всего у него вышло: «О, если правда, что в ночи...», которое он прочел глухим, таинственным, однообразным тоном, нигде не повышая его. Я напомнила, что Метнер в музыке кончает вскриком, как бы уже зовом в присутствии призрака: «Сюда, сюда!» Он покачал головой: «Неправда. Этот зов, в сущности, беспомощен...»

В тот же вечер он говорил о Тургеневе, что у него во всех вещах литературные несчастные концы, которые, по его мнению, были ему не по натуре. «Разве можно себе представить Тургенева женатым, с детьми, занимающимся хозяйством? Его, который был настоящим европейцем и среди Флоберов, Мопассанов и Гонкуров — мэтром?»

9 марта. В воскресенье, шестого, ездили с И. А. гулять. День был совсем весенний — вообще начиналась весна — и мы пошли какими-то деревенскими улицами от Фурашо к каналу и долго шли среди сосен и вереска, забрались в чащу мимоз, желтыми вымпелами стоявших в голубом небе. И. А. был точно погружен в сон, потом — началось с Наташиной свадьбы; в этот день в 4 часа ее венчали в Париже, и мы невольно

следовали за ней мысленно. — я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе, — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бобой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и «дамское» выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму...»

Он рассказал, как начались вскоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, «которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела». Привело все это к тому, что после двойного отъезда он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом.

Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смертном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит, очень вытянувшись...

— Вы его любили?

— Я мало в сущности его видел. К тому же я не очень сознавал в себе отца... А Анна Николаевна пролила много слез...

Я стала говорить ему о том, как все это хорошо должно у него выйти в «Жизни Арсеньева». Он сказал сначала, что не думал об этом писать, но постепенно разогрелся и в конце концов сказал, что об этом «уже и правда можно было бы написать».

Во время следующей прогулки — вчера — он заговорил об этом сам, рассказал о том, что отец Анны Николаевны Цакни был революционер, эмигрант довольно видный, что в Париже ему приходилось так туго, что он мел улицы, а зато потом в Одессе они были богаты. Мачеха Анны Николаевны была богатая женщина. У них были имения, виноградники. «Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя! Вот как я это понимал!»

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю! — сказал он. — Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли

на площадке и курили. Я вдруг сказал: «Прошу у вас руки вашей дочери». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: «Да я-то тут, дорогой, причем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня — я ничего против не имею».

Когда они затем встретились — она уже, вероятно, знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее tuberозу. Это было сделано очень мило и невинно.

Рассказывалось это во время прогулки по пути к Турету. Обратный путь решено было сделать пешком. В Турете мы купили ветчины, рок-фору и бутылку *Самр Рomain*, вышли затем за город и, сев на горке над дорогой, поели. Место выбрали такое, что перед нами во все стороны был изумительный вид. Вдали голубые горы, они были в голубоватом тумане, над Ниццей твара горы, над Вансом оливковые рощи, спускающиеся в долину. Прямо перед нами Турет, освещенный сбоку уже клонящимся солнцем, тесно слеplенный в одно каменное целое, со своими маленькими окнами, общим, несколько вдавленным очертанием похожий на гондолу. Особенность и красота его в этой стройной слеplенности и еще в том, что стоит он на странном месте: почва вся в каменных разливах, гладких, как отполи. Вокруг алоз изящнейшими розетками украшают эту гондолу, наполненную домами. В то время как мы сидели и смотрели на него, раздался редкий звон — незадолго пронесли перед тем «безобразно запачканный черной краской гроб» (выражение И. А.) — кого-то кляли в геан.

«Сколько во мне жизни, — говорил И. А., глядя на Турет, на горы, на Ниццу. — Вот я смотрю на все это, и для меня эта Ницца — это целый оркестр! И где-то там жил мой приятель Блох на своей вилле, где он изображал Петрония, где угощал меня великолепным вином, и это мировой курорт, и все это я чувствую, и все это хотелось бы написать, и так много я в этом чувствую, что и написать пытаться бесполезно!»

11 марта. Вчера вечером ходили по черному пустынному городу. Вдруг в одной из нижних улиц, сбоку, в темной булочной — ярко горящая множеством длинных золотых дров печь. Мы оба остановились, в один голос воскликнув: «Ах, как хорошо!», и долго смотрели; было что-то живое, прелестное и таинственное в этом весело и деятельно горящем низком четырехугольнике в темной пустой булочной, в темном силуэте длинных хлебов на полках и в корзинах...

На обратном пути — мы только что входили в сад Монфлери, сырой, погруженный в темный туман, — заговорили об объявившейся в этот день семье родственников И. А. (письмо из Харбина с просьбой о помощи). Я сказала, что в сущности у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша умерли, — не говори мне!

Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о ее смерти, которое скрыли от И. А.

Дальше, на подъеме, он говорил уже другим тоном о том, где они должны быть сейчас, рисовал улицу в Ростове-на-Дону, домик, лампочку, под которой должна сидеть сейчас Маша...

Сад был погружен в серый туман, в дым, в котором как-то страшно стояли деревья...

2 июня. И. А. перечел Марка Аврелия. Вечером, лежа у себя в спальне, говорил:

— Как странно, повелитель мира — Цезарь был в то время властелином мира, — сидя где-то в палатке на берегах Дуная, писал... и нам, читающим теперь, это кажется написанным в наши дни. Писал он, конечно,

для себя. У него было пониженное чувство жизни. Недаром все это так безнадежно. «Разложи танец, разложи совокупление...» — но ведь как это разложить? Если разлагать — значит уже не хочется танцевать. А если разложить совокупление — оно уже не будет совокуплением, любовью, восхищением... а голым актом. Но иногда и у него проскальзывало чувство радости жизни — это там, где он говорит о трещинках на хлебе, о нахмуренном челе льва, о колосьях и пене на клыках кабана. Но век тогда был требовавший пониженности чувства жизни, и, кроме того, Цезарь был слишком высоко поставлен, а это заставляло смотреть на все так... (лицо его выразило высокомерное утомление, брезгливость). Но какая простота, благородство и как это возвышает! И вот уже он разбит в одном: не всё исчезает. Слава не исчезает. Пример — он сам. И как его называли: «бог благосклонный»!..

9 июня. Порой я с какой-то грустью вспоминаю те времена, когда И. А. писал, все равно, была ли это «Жизнь Арсеньева» или «Краткие рассказы». В доме было какое-то полное надежд настроение. Теперь он уже давно не пишет, и все как-то плоско, безнадежно.

15 июня. Начинают летать светляки. Скошенная трава под оливками пахнет цветами. Мутное небо. Начинает накрапывать дождь.

«Перечел „Арсеньева“. Простодушная книжонка!» — с каким-то неодобрительным смехом сказал вчера И. А. Сегодня перечла и я первые его главы. Нет, не такая уж «простодушная»...

16 июня. Я принесла И. А. показать только что распутившуюся, неопостижимую в своем безмолвном великолепии ветвь белых лилий. Запах одной этой ветки так силен, что уже наполнил комнату. Сегодня в саду, стоя подле высоких, в чешуйчатых листьях, стеблей с уже побелевшими бутонами, И. А. говорил, что понятно, откуда вышла готика и почему столько в средневековом искусстве лилий. «Лилия — готический цветок».

26 июня. И. А. опять пытается писать «Арсеньева» и опять жжет написанное и отчаивается. Кроме того, у него опять припадки его болезни, и он время от времени раздражается. Но вчера вечером, хотя он и был раздражен, мне было его жаль: он похудел, лицо стало какое-то маленькое, и в глазах тоска.

27 июня. Давно заметила в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты XIX века, какое-нибудь плохо написанное путешествие. Вчера, застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо, спросила, почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что-то, что попало, и начинаю читать, роюсь себе впотьмах и что-то, смутно нужное мне, ищу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте... а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть, — это мне мешает...

Другими словами, одна индивидуальность не хочет другой индивидуальности...

8 сентября. Вчера ездили с И. А. на острова. По дороге в автобусе говорили о страдании, о разных его родах у людей на разных ступенях сознания. Я вспомнила пушкинское:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!



БУНИН

Фотография. Грасс, вилла «Бельведер», 1933

С пометами: «Grasse, A. M.»; «Ив. Бунин. Villa Belvédère, 10.XI.33»

Литературный музей, Москва

И. А. сказал, что только Пушкин мог взять такое удивительное сочетание — мыслить и страдать, — и потом напомнил другое, у Фета:

Страдать! Страдают все! Страдает темный зверь,
 Без упования, без сознания, —
 Но перед ним туда навек закрыта дверь,
 Где радость теплится страдания.

29 сентября. И. А. читал мне переводы обращения Будды к монахам, восхищаясь высокой прелестью и общим строем этой речи. Потом попросил меня прочесть ему вслух его «Ночь отречения». Рассказал, как был в Кенди и видел в священной библиотеке пальмовые дощечки с начертанными на них круглыми знаками — буддийские книги. Показывал их ему верховный жрец, человек «с сумасшедшими, сплошь черными глазами, в желтой одежде, оставлявшей правое плечо открытым». Библиотека помещалась в подземелье, решетчатые окна которого приходились почти вро-

вень с водой рва, и так как вокруг было много зелени, в комнате был зеленоватый отблеск. Стены были очень толстые, с нарисованными на них драконами. Жрец подарил ему одну пальмовую дощечку, на которой стилетом написал тушью с золотом свое имя.

2 октября. После обеда разговаривали в кабинете о Будде, ученье которого И. А. читал мне перед тем. От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И. А. говорил, что дивное уже в том, что человек знает, что он не знает... и что мысли эти в нем давно и что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь «на костер труда», а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. «Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят». Но... Ананде было сказано Буддой: «Истинно, истинно говорю тебе, ты еще много раз отречешься от меня в эту ночь земных рождений...»

3 ноября. Вечер в Каннах. Справа на небе стоит огромная плоская декорация города и гор, вырезанная из темной, синевато-серой бумаги. В декорации этой кое-где светятся отверстия — в церковной башне, например. Над всем этим золотистое небо. Солнце уже зашло. Вода тиха, гладка, от нее веет свежестью. Слева зажглись огни вокруг залива, и вода, голубовато-стальная, подходит к светлым дворцам больших отелей. Говорим о Нобелевской премии.

И. А.: Нет, именно оттого, что мы так бедны и что эти деньги нас спасли бы, этого не может быть. Так не бывает. Валери будет совершенно естественно получить ее. Это ничего особенно не изменит в его жизни. У него и сейчас отличная дешевая, довоенная квартира, шкапы из золотистого полированного дерева, в которых множество превосходного белья... И вообще — с ним это сопрягается (писал какую-то рассудочную высокопарную ерунду), а с Мориаком, например, не сопрягается... Ну, кому придет в голову дать премию Мориаку?

Этот день был днем всех святых. В автобусе стояли в проходах — я сидела рядом с шофером. Передо мной убегала под автобус серая лента шоссе. Освещенная ярким солнцем дорога уходила под навес из платановых листьев, светящихся насквозь всеми оттенками желтого и коричневого. Очень часто останавливались. Перед каннским кладбищем на шоссе всюду продавали цветы, толпа в черном шла со снопами тубероз в руках.

И. А. был подавлен. Накануне он перечитывал написанные им первые главы продолжения «Арсеньева». Сначала он был как будто доволен ими — особенно той, где говорилось о сближении с Ликой, а потом вдруг сразу все ему разошлось.

Я все думаю, глядя на него, — как это таинственно! Почему он не мог писать этих глав, в которых ведь все заранее ему было известно, в прошлом году, например? Почему надо было ему мучиться три года, прежде чем сесть писать то, что он уже вперед знал, потому что, по словам В. Н., все это так и было в его жизни? Да, вот загадка. Не созрело? Он сам не был готов, не смирился достаточно для того, чтобы решиться писать эту «ничтожную», как он говорит, т. е. обычную жизнь? Я смотрю на него и все думаю об этом. Вот, преодолев тяжелую преграду вступления, он очень быстро пишет страницу за страницей, отделяя и прибавляя кое-что к ней после того, как она уже перепечатана на машинке.

22 ноября. И. А. пишет по 3—4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует. Но разговоры по вечерам бывают исключительно интересны.

И никогда еще так ясно не становилась для меня вся его натура, как в этом его теперешнем писании и высказывании...

Сегодня во время обычного вечернего разговора я затронула тему, меня уже давно интересующую: отчего он так поздно развился и отчего вообще русская литература так долго оставалась по преимуществу образной, т. е. какой-то девственно-дикой, в то время как на Западе давно мыслили абстрактно. Я высказала мнение, что влияла, вероятно, природа и ее особенности. Он, по обыкновению, как всегда, когда подвергается что-нибудь нетронутое, интересное, оживился и стал развивать мою мысль, говоря, что происходило это, вероятно, оттого, что русский человек был окружен зрелищем вещей огромных, широких и вечных: степей, неба. На Западе все тесно, заключено, из этого невольно рождалось стремление в себя, внутрь.

— Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!

1933

11 февраля. Вчера после завтрака осталась у И. А. в кабинете, и он мне рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, выдуманную им, оживленную и ставшую постепенно существовать.

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он. — Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать, и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то бывлой кокетливости в одежде и испытал к ней всё те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть, итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него, я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там... Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю как назвать еще — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром.

13 февраля. Дождь второй день. Вчера сад был в пару, точно от мокрого белья.

И. А. так записался, что говорит «доктор идет» вместо «дождь идет», глядя в балконную дверь, — видно, думает о докторе, отпе Лику.

27 февраля. Солнечное утро с крупными белыми облаками на прелестном голубом небе. Необыкновенно хороши красные палатки далеких ярмарочных балаганов внизу. После завтрака вскапывали клумбу и сажали цветы. Было потом очень приятно смотреть на кустики с красными головками из окна.

И. А. грустен и говорит, что все это скоро кончится, потому что мы совсем сядем на мель. «Все это последние месяцы! — говорил он. — Потом просто будет не на что жить. И Жозефа держать не на что и питаться придется еще меньше».

12 марта. Разговор Степуна с И. А. об изобразительном творчестве и «стихии мысли».

Степун: «Толстой... Толстой был изумителен, когда он писал образами, но едва он пытался мыслить — выходило наивно. Он мыслил „животом“. Но вот попытался он написать отвлеченную статью „О Жизни“ — получилось наивно. Потому что нельзя писать так, точно в первый раз услышал об этом, о том, о чем уже писали 10 тысяч лет назад... Он не понимал, например, что может быть „пиршество мысли“. У Платона в диалогах бывает такой блеск, для которого у Толстого никогда не хватит крыльев. Он не имел этих крыльев».

И. А. утверждал, что образное мышление Толстого — это высшая мудрость. Но Степун не соглашался и говорил, что Толстой не знал даже чего-то основного, что уже было, например, у Шекспира. Ему как-то внове или неведомо было, что «свобода есть зависимость» и что такое есть в философии свобода. И. А. говорил, что философия начинается с удивления и что у Толстого это удивление изумительно передано. Приводил то место, где Ленин в лесу чувствует себя слившимся со всем миром, говорил о том, какие бездны тут заложены... Но Степун не сдавался и утверждал, что в чем-то Толстой был скован своей нутряной силой и прикован к земле.

13 марта. У нас наступает бедность. Как-то само собой получилось так, что И. А. стал безработным. Сегодня говорили с ним об этом. Из «Новостей» ни слуха ни духа. Этот месяц уже очень труден, а дальше надо жить на 1700 франков четверым, отдавая на прислугу 700 фр. У И. А. такого положения, кажется, еще не было.

18 марта. Болезненный вид И. А. Его подавленность. Наступающая бедность.

5 апреля. Вчера опять говорили с И. А. о продолжении «Арсеньева». Опять мучение. Опять поиски тона, с которого надо начинать следующую книгу. Говорит, что взял чересчур высокий тон во всем предыдущем и теперь это стесняет. Все же что-то нашли в разговоре. Он рассказывал, и, видно, уже выработалось это в уме, сцену в полицейском правлении.

13 апреля. Перед вечером читала «Суходол» и потом долго говорила о нем с И. А. Прочла его сознательно впервые. Несомненно, вещь эта будет впоследствии одной из главноопределяющих и все творчество и духовную структуру И. А. Он сам не знает, до какой степени раскрыл в «Суходоле» «тайну Буниных» (по Мориаку).

Удивительно, как это написано. Сначала не понимаешь даже, о ком и о чем читаешь, и почти это неинтересно; а потом оказываешься вовлеченным, зараженным, живущим в этом, вместе с действующими лицами и страдающим с ними. В русской литературе нет ничего похожего. Тут взгляд и изнутри, и вместе с тем как будто не по традиции, не по канону, точно пришедший смотрит и говорит. И никакого преувеличения, чувствуюмо мною, например, в «Снах Чанга».

19 мая. Вчера И. А. очень хорошо говорил у Фондаминских о необходимости напряжения.

«Можно прожить так свою жизнь. Но если ты хочешь чего-нибудь повыше — напрягись, напрягайся ежедневно так, чтобы вены вздувались. Только страшным напряжением можно чего-нибудь достигнуть. Ты живешь в четверть данных тебе сил».

28 мая. Мой рассказ напечатан с выпуском довольно большого куска. Часть денег за него возьмут в кассу за долг, остальное надо послать в Киев бабушке, а я останусь опять надолго без ничего... Хуже всего долги. Их у меня на полторы тысячи. Думала о нашем положении писателей-эмигрантов. Вот еще один не выдержал — недавно покончил с собой Болдырев. С год назад умер от нужды Борис Буткевич. Все талантливые, упорные. Но обстоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без быта, без семьи, издерганные событиями в критическое время молодости, все, лишенные самого необходимого и без надежды на будущее... Следующим

будет уже легче, они корнями в здешнем, а мы — ни то ни сё — на рубеже.

3 июня. И. А. вчера на прогулке говорил мне:

— Не знаю, сумею ли тебе объяснить... Поймешь ли ты меня. Дело в том, что с годами, а теперь особенно, я все больше начинаю чувствовать в себе какой-то... Петраркизм и Лаурность... т. е. какое-то воплощение всего прекрасного, женского, во что-то одно во мне... что и правда подобно тому, что я писал в прошлом году о Петрарке — «Прекраснейшая солнца»...

Мы стояли у решетки. Вдали был Грасс с цепями огней, похожий с этого удаленного бульвара на какой-то приморский город. Горы были по-летнему плотны, мягко-фиолетовым телом своим закрывали полнеба. Акации над нашими головами были неподвижны. Великая прелесть была в этом теплом сухом летнем вечере...

11 октября. И. А. вчера вечером рассказывал измену Арсеньева Лике в Кременчуге с некоей Марьей Васильевной, женой члена суда. За обедом — мы были одни, так как В. Н. ездила в Канны, — рассказал также вдруг свой роман в Люстдорфе с Климович, у которой был уже жених. Впрочем, дальше поцелуев дело не пошло. Вчера немного диктовал мне.

13 октября. ...пришел запрос И. А. из Голливуда — хотят купить у него для фильма «Господина из Сан-Франциско». Это может быть очень большое дело, но лучше не надеяться.

15 ноября. И. А. уехал, и мы немного опомнились, только проводив его. Я и сейчас еще в не вполне нормальном состоянии, но мне хочется записать все эти пять с половиной дней по горячим следам.

В четверг 9-го был тяжелый день: ожидание. Все были сутра подавлены, втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим делом. Я с утра пошла в сад сажать луковицы нарциссов. И. А. сел за письменный стол, не выходил и как будто даже пристально писал (накануне он говорил мне, что под влиянием происходящего с какой-то «дерзостью отчаяния» стал писать дальше). День был нежный, с солнцем сквозь белое, почти зимнее русское небо. Я смотрела в третьем часу на широко и кротко упавший с неба свет над Эстерелем и думала о том, что на другом конце света сейчас решается судьба Бунина и судьба всех нас. И у меня было уже ненормальное состояние, и это небо, и этот день, и город внизу уже были не те, что обычно. Леонид спросил, что делать в случае, если придет телеграмма из Стокгольма (мы решили пойти днем в синема, чтобы скорее прошло время и настало какое-нибудь решение), и сам же ответил, что придет за нами.

В синема И. А. был нервен и сначала даже плохо смотрел. В зале было холодно, он мерз. Первое отделение прошло, в антракте мы вышли на улицу, он ходил в бар напротив пить коньяк, чтобы согреться. Когда началось второе отделение, я несколько раз оглядывалась, но еще все-таки было рано тревожиться, так как было всего четыре часа. Тем более странно (странно тем, что уже мысленно вперед пережито и сбывалось), когда, оглянувшись на свет ручного фонарика, внезапно блеснувшего позади в темноте зала, я увидала у занавеса двери фигуру Леонида, указывавшего на нас билдешерше. «Вот... пришел...» — сказала я И. А., мгновенно забыв его имя. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Леонид подошел сзади в темноте, нагнул и, целуя И. А., сказал: «Поздравляю вас... звонок из Стокгольма...» И. А. некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать. Мы тотчас вышли, пошли спешно домой. Леонид рассказал, что в четыре часа был звонок по телефону, он подошел и разобрал: «Иван Бунин... Prix Nobel...» В. Н. так дрожала, что ничего не могла понять. Узнав, что самого Бунина нет дома, обещали позвонить через полчаса, и тут Леонид побежал за нами. Дома нас встретила красная и до крайности взволнованная В. Н., рас-

сказала, что уже опять звонили, поздравляли из стокгольмской газеты и пытались интервьюировать ее. И. А. все переспрашивал, как бы боясь ошибиться. Потом начались почти непрерывные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить, и слушать, и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Около пяти часов принесли первую телеграмму от Шассана. «Поздравляю с Нобелевской премией. Обезумел от радости. Шассэн». Потом телеграмму от Шведской академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало... Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью. В столовой сидел представитель ниццкой шведской колонии капитан Брандт, приехавший поздравлять из Ниццы. За обедом мы выпили шампанского (и Жозеф с нами). И. А. был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, и все вообще бегали и кричали.

В десятом часу мы с И. А. вышли в город. В парке Монфлери, в темноте кто-то неинтеллигентным голосом навстречу: «Не знаете ли, где здесь вилла Бельведер?» — «Здесь». — «Я ищу Бунина, который сегодня получил премию Нобеля». — «Это я». Волшебное превращенье. Изменение тона, поклоны, представленья. Корреспондент от ниццкой газеты. Но ничего не знает, говорит с грубым акцентом, спрашивает, за что дали премию... не знает даже, что Бунин писатель.

Интервью было дано тут же по дороге, он спустился с нами в Грасс. На бульваре нас поймали еще два журналиста, отыскивавшие Бельведер уже в течение двух часов и наконец обратившиеся к начальнику полиции, который был, кстати, тут же налицо (очень милый, скромный, интеллигентного вида человек). Нас повели в помещение «Пти нисуа», принесли из кафе напитки, и тут же началось спешное интервью. Потом была сделана первая фотография, на следующее утро появившаяся в «Эклерёре» вместе с интервью, которое пришлось давать мне, так как И. А. был так взволнован, что не на все сразу мог отвечать.

Следующее утро — прекрасное, солнечное — началось со звонков, телеграмм и новых интервью. В. Н. пошла в город к парикмахеру, мы принимали всех одни. Влетели князь и Ася (Кугушевы) в белом, с огромным букетом белых хризантем. Их оставили завтракать. «Как весело, как интересно! Это один из самых счастливых дней моей жизни!» — восклицала Ася. Князь тоже был необычайно возбужден, оба они наперерыв засыпали интервьюера-француза сведениями о всех присутствующих. Потом нас всех вместе снимали за столом, заставленным бутылками. И. А. на этот раз был мил, растроган, очень ласков с журналистами и фотографами.

После завтрака зачем-то поехали на автомобиле в Ниццу и устали, конечно, страшно. В городе, куда я пошла на следующий день за покупками, было очень забавно встречать разных людей и слушать то смущенные, то любопытные, то удивленные поздравления. Носильщик подошел ко мне и, величественно протянув руку, сказал с достоинством: «Je suis satisfais *». Неприятные хозяева книжного магазина Ашетта встретили с чрезмерно любезными лицами и стали просматривать и отбирать газеты, где были портреты и статьи. На улице ко мне бросилась дама из другой книжной лавки, прежде не хотевшая кланяться И. А., так как он не покупал у нее книг, стала оживленно поздравлять и спрашивать, какие книги переведены на французский, так как все теперь спрашивают книги Бунина. «Это большая честь для него и для Грасса тоже...» Фотограф сказал мне, что швед, пришедший в первый день с ним на виллу Бельведер, дал ему

* Я доволен (франц.).

адреса и он уже разослал все снимки, включая даже крохотный для паспорта.

Дома, когда я пришла, сидел какой-то важного вида пожилой корреспондент и мэр Грасса Рукье, накануне приславший сноп роскошных цветов, о которых И. А. с ужасом, поморщившись, сказал: «К чему эти цветы! В этом есть что-то...» (он, конечно, хотел сказать «погребальное»). На следующий день мы с В. Н. ездили в Канны, купить себе кое-что из самого необходимого, одеты мы были последнее время более чем скромно. Все это время в доме не было денег. Только в понедельник пришли три тысячи из Парижа по телеграфу. И. А. решил ехать в Париж во вторник. Мы еще долго говорили накануне в его кабинете, он с карандашом считал. Выходило, что для поездки в Швецию надо 50 тысяч. Мы слушали, слушали и все хором сказали, что он должен ехать в Стокгольм один.

Во вторник мы его провожали. Весь день он собирался, как всегда сам укладывая вещи, никому не позволяя помочь себе, крича, разговаривая по телефону, просматривая приходящие телеграммы и письма. Обед был праздничный, и за столом говорили о том, кому из писателей и сколько надо будет дать из премии, и насчитали сто с лишним тысяч... Вез нас на вокзал знакомый шофер. Приехали за 10 минут до отхода поезда. На этот раз И. А. ехал в первом классе, в спальном вагоне. Поезд ушел, мы оглянулись... и пришли в себя только через час.

16 ноября. Почтальон принес опять гору писем, телеграмм и газет и второй том «Жизни Арсеньева», только что вышедший в Швеции. Мы долго разбирали все это в моей комнате.

В четыре часа первый раз звонил из Парижа И. А. Доехал благополучно, его встретили на вокзале, прямо повезли в ресторан Корнилова. Был завтрак, который стоил 1000 франков, и Корнилов отказался взять деньги, сказав, что это для него честь. Остановился в отеле «Мажестик». «У меня целые апартаменты в несколько комнат, очень спокойных, и плату, сказали, будут брать как за самый маленький номер, так как для отеля это реклама, что у них остановился нобелевский лауреат... Сейчас еду в „Новости“, где ждут французские интервьюеры. Позвоню еще в шесть...» Но не позвонил до половины седьмого, а нам с Леонидом пора было уже ехать на обед к Кугушевым.

17 ноября. Страшный дождь с грозой и градом весь день вчера и сегодня. Мы все еще не очнулись до конца. Я вообще не могу освоиться с новым положением и буквально со страхом решаюсь покупать себе самое необходимое. (Вчера, несмотря на дождь, ездили с В. Н. в Канны, и возвращение было фантастическое, с дальними огнями Грасса впереди, в темноте, за осыпанными крупными слезами окнами автобуса, и чувством, что все это кончено и наша жизнь свернула куда-то...)

Вчера до ночи рылись в бумагах И. А., в его письмах, портретах, папках, отыскивая, по его просьбе, старые условия с издателями, и было в этом что-то почти жуткое для меня — в том, что теперь можно рыться в этом, обычно так ревниво охраняемом и закрываемом на ключ от всех.

Сегодня опять был звонок от И. А. по телефону. Он сказал, что берет с собой в Швецию секретаря и что предполагает пока жить в «Мажестике». Его очень чувствуют, газеты полны его портретами во всех возрастах, статьями о нем, описаниями его прибытия в Париж.

И. А. звонил опять. Говорил, что почести ему большие, но что он уже очень устал, по ночам не спит и что ему очень грустно одному. Он еще не одет для Стокгольма, но уже был портной, который будет шить ему фрак, пальто и т. д. Мы должны приехать в Париж приблизительно через неделю к большому банкету в его честь.

Его снимали уже для синема, он говорил перед микрофоном.

3 декабря, Париж. Проводы. Train bleu *. Десять часов вечера. Толпа на вокзале.

Вечером после обеда в вагоне-ресторане стояла в коридоре и смотрела в окно. Ночь, незнакомая страна, уже Бельгия, лунная ночь, блеск реки под какими-то острокопечными черными сопками. Вагон швыряло, я стояла, смотрела, все думала... Кажется, впервые за этот месяц на несколько минут осталась одна. Все еще не понимала до конца, что заколдованный круг нашей жизни распался, что мы уехали из Грасса и едем в Швецию, в которой никогда не предполагали быть.

Ночь. Не сплю. Стояла в коридоре с И. А., смотрела в окно. Наш вагон теперь стал последним. Белизна снега, пути, высокие мрачные деревья, совсем иного вида, чем на юге. Потом — огни, заводы, вышки, и все это живет странной зловещей жизнью, что-то пылает, что-то как будто льют. Германия работает даже ночью. Около часу переехали германскую границу. Трое немцев осматривали, смотрели, какие у нас газеты, но, узнав, что И. А. — Nobelpreisträger **, поклонились и ушли. И. А. потребовал у проводника бутылку рислинга, пили у него в купе, он был весел, говорил, что так всегда путешествовал прежде.

6 декабря, Стокгольм. Утро началось неприветливо, серо, с темноты и огней в еловых лесах. На последней станции перед Стокгольмом вскочил молоденький журналист, ехал с нами до Стокгольма, расспрашивал и записывал с чрезмерной молодой серьезностью, стараясь сохранить свое достоинство. На вокзале в Стокгольме встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес «хлеб-соль» на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тотчас же ловко подхватил. Несколько раз снимали, вспыхивал магний, а вокруг было еще как будто темно... Вышли из вокзала, у входа ждал аппарат синема, потом повезли по снежным улицам. Первое впечатление от Стокгольма очень приятное: набережная, вода, дворцы, чуть прибеленная снегом земля. Не холодно. Во всем есть полузабытое, русское, родное. Дом Нобеля глядит на канал и на тяжкую громаду дворца за ним. Квартира великолепная, картины, кресла, столы из красного дерева и всюду цветы. Нам отведен отдельный апартамент: три комнаты с ванной. Служит специально выписанная для этого из Финляндии русская горничная, молоденькая, смышленная, любопытная.

Перед закатом прошли с хозяином дома, Олейниковым, по главной улице. Уже зажглись огни — здесь чуть не в три часа темнеет, — было холодней, чем утром. После залитого светом Парижа Стокгольм кажется темным, несмотря на обилие фонарей. Зато канал, в фонаре нашей комнаты, переливающийся огнями, все время напоминает Петербург. Завтра здесь предполагается первый большой обед на сорок человек, на котором будет присутствовать вся семья Нобелей. Днем опять была интервьюерша, молодая, серьезная, скромно, но хорошо одетая. Здесь вообще приятна молодежь, она серьезна на вид, но воистину молода. Во Франции в сущности молодежь не молода. Чересчур древняя раса для молодости.

В газетах уже появились сделанные утром на вокзале снимки. Бледные расплывшиеся лица и «хлеб-соль» с длинным белым полотенцем, о котором расспрашивают все интервьюеры и потом записывают: «древний русский обычай»... Пишу за столом самого Нобеля. Передо мной его портрет и его круглая хрустальная чернильница.

10 декабря. День раздачи премий. Утром И. А. возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах портреты нас всех на чае в русской колонии — было человек 150. Говорили речи, пели, снимали. Здешние русские говорят плохо по-русски и вообще очень опшведились.

* Голубой экспресс (франц.).

** Нобелевский лауреат (нем.).



БУНИН

Фотография. Стокгольм, 16 декабря 1933 г.

С автографом: «Ив. Бунин, 16.XII.33»

Литературный музей, Москва

11 декабря. Самая важная церемония — раздачи премий, слава богу, окончилась. В момент выхода на эстраду И. А. был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно бледное лицо, наряду с тремя молодыми (им по 30—35 лет) прочим лауреатов, обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко, с подчеркнутым достоинством, поклонился.

Церемония выхода короля с семьей (до выхода на подиум лауреатов) была очень торжественная, совершалась под какую-то легкую музыку, спрятанную где-то за потолком. Зал был убран только шведскими, желтыми с голубым, флагами, что было сделано из-за Бунина, у которого нет флага. Когда герольды с подиума возвестили трубными звуками о выходе лауреатов, весь зал, и с ним король с семьей, встал. Это, кажется, единственный случай в мире, когда король перед кем-нибудь встает.

Первые, физик и химик, получали премию весело, просто. За третьего, отсутствующего, получил премию посол. Когда настала очередь Бунина, он встал и пошел со своего места медленно, торжественно, как на сцене. Его сняли во время передачи ему медали и портфеля, и сегодня во всех газетах прекрасная большая фотография этого момента.

Вечером был банкет в большом зале Гранд-Отеля, где посредине бил фонтан. Зал в старошведском стиле, убранный теми же желто-голубыми флагами. Посреди главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты. (Голова В. Н. между двух канделябров, с тяжелым черно-блестящим ожерельем на шее, в центре стола.)

Сидеть за столом во время банкета было довольно мучительно. Я сидела за столом, ближайшим к главному, по бокам были важные незнакомые лица, кроме того, я волновалась за И. А. — ему предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором, говорить речь на чужом языке. Я несколько раз оглядывалась на него. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье.

Речи начались очень скоро. И. А. говорил, однако, очень поздно, после того как принесли десерт (очень красивая церемония: вереница лакеев шла, высоко неся серебряные блюда, на которых в глыбах льда лежало что-то нежное и тяжелое, окруженное розово-паутинным, блестящим, сквозившим в свете канделябров). Я волновалась за него, но когда он взошел на кафедру и начал говорить перед радиоприемником, сразу успокоилась. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознанием собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью. Говорили, что благодаря плохой акустике, радиоприемнику и непривычке шведов к французскому языку, речь его была плохо слышна в зале, но внешнее впечатление было прекрасное. Слово «exilé» * вызвало некоторый трепет, но все обошлось благополучно.

18 декабря. В салоне парома, перевозящего нас на германский берег. Опять тихо, серо, подрагиванье машины под ногами и во всем теле. Ходила по спардаку. Свежесть воздуха, чайки. Ночь была довольно неприятна, как часто, впрочем, ночи в поезде, и сквозь сон долетали те странные, тройные стеклянные звуки, которые сквозь снежную ночь доносились до меня в последний переезд перед Стокгольмом. Мне тогда казалось, что это какие-то предупреждающие сигналы. Как меня волновала тогда новая страна, которую я должна увидеть. Увы! Я видела ее из окна автомобиля и никак не успела насладиться ею, потому что насладиться — значит ходить, смотреть, слушать, чувствовать глубоко и полно, а когда же было делать все это? Обеды, обеды, парадные чаи, завтраки, чопорность, напряжение целые дни...

Вчера Шассэн показывал нам город: в двух автомобилях мы объездили лучшие кварталы Стокгольма и местный Булонский лес. Там лежал настоящий снег. На фьордах катались на коньках, небо среди елей, дубов и берез было изумительной нежности, жидкой тонкой голубизны. Дома из чешуек местного стиля, темные, темно-красные, некоторые с колоннами, похожие на русские. Как бы хотелось почувствовать все это полнее, пожить среди этого!

Завтракали в старом подземном кабачке в старом городе, в «Золотом мире». Свечи на окнах, елка в конце длинной узкой залы, березовые стволы, стоймя горящие в камине. Служили женщины в сливочно-розовых наколках на голове. В этом кабачке когда-то бывал шведский поэт Бельман...

1934

19 февраля, Грасс. Собственно, я до сих пор еще не успела осмыслить все происшедшее за эти три месяца. Так, время от времени, всплывает какое-нибудь лицо, ни разу за все время не вспомнившееся, место, атмосфера какой-нибудь минуты. Говорили обо всем этом мы, к моему удивле-

* изгнанник (франц.).

нию, мало даже с И. А., хотя ему, видимо, настолько же приятно вспоминать все, что было, насколько он неприятно переживал это. Поехавши недавно в Ниццу, он взял такси и заехал в отель «Англетер» — расписаться у «своего старика», как он называет теперь шведского короля. Но, видно, он мало насладился своей короткой славой в Швеции, да и действительно прошло все потрясающе быстро, так что кажется, будто снилось. И это тем более, что живем мы по-прежнему и разговоры о том, что денег мало и надо экономить, ведутся в доме по-прежнему.

Когда я теперь оглядываюсь назад и вспоминаю эти три месяца, я вижу, что И. А., в сущности, получал премию один, как-то мгновенно отделившись внутренне, как только получилось подтверждение телеграммой неразборчивых телефонных голосов из Стокгольма. Он тогда под каким-то предлогом ушел из дома, пошел к собору, долго ходил по саду Монфлери и, по собственному выражению, как-то «строго» отнесся к происшедшему. От этого он сразу и стал так «строг» и с нами, хотя на душе у него было, как он говорил, светло и радостно.

Но, уехав в Париж, он на этом светлом не удержался. Его повезли чуть не с вокзала завтракать встречавшие в один из самых дорогих русских ресторанов, и потом около двух недель длился кавардак. Когда мы приехали, он был вне себя, ничего ясно не сознавал, на все отзывался неправильно. В пути ненадолго пришел в себя — напомнил мне себя прежнего, когда мы с ним, стоя на задней площадке Норд-экспресса, смотрели на снег убегающих назад путей и говорили о том, что было, и о том, что будет. В Гамбурге он целый день пролежал в постели, отлеживал парижскую усталость. В Стокгольме вел себя как *enfant terrible* * все время, кроме часов на людях, на банкетах и в гостиных, где был очарователен и неотразим, по всеобщему мнению. Дома же болел, и мы все возились с ним, и Олейников (обладающий, впрочем, трудным характером) не раз поднимал глаза и руки к небу...

Пришел он в себя, в сущности, только здесь, и опять стало в нем проявляться то, что я люблю в нем, — все же эти быстрые, как сон, три месяца его славы он отсутствовал. Но много, вообще, произошло за эти три месяца...

* несносный ребенок (франц.).